

## Конспекты поздних времён

### 1.

#### **Сон Макса про цыган, НЛО и обед в ресторане «Радуга».**

За день до экзамена второкурсник Макс Криницын ощутил во всём теле глубочайший упадок сил, и потому не отправился с утра пораньше в читальный зал университетской библиотеки, а остался лежать в комнате общежития, на своей кровати с книгой в руках.

Конспект имелся, но ужасно плохой: из-за частых пропусков занятий и неустранимой корявости почерка. Ещё помнится в школе, после проверки контрольных работ учителя-юмористы нарочито путали его фамилию, называя Курицыным.

В общем и целом на конспект надежд не было никаких, оставалось зубрить материал по первоисточнику – книжке профессора Щура, сухой как сено, до зевоты скучной и невероятно, по мнению самого Криницына, мудрёной.

Поначалу Максу нравилось валяться и одновременно как бы заниматься делом. Пребывание в лежачем положении вообще намного более приятно, чем унылое сидение в читалке на скрипучем стуле, однако и на казённом покрывале дело почти не двигалось с места.

Ежеминутно с ним происходили те самые непредсказуемые элементарные события, которые будто специально созданы в целях отвлечения человека от подготовки к экзамену.

Вот потоки воздуха донесли с первого этажа запах пельменей, вызвав в голове глобальное инакомыслие: Макс отчетливо представил буфетчицу тётю Катю, что с ленивой грацией победительницы конкурса толстух достаёт из двухведёрного бачка черпак пельменей, шлепает с размаха полторы, нет, пусть уж сразу две порции, поливает сверху маслом, а чёрт с ним, гулять так гулять, ещё и сметаны, пожалуйста!

Криницын небрежным жестом обеспеченного человека выложил на прилавок деньки, забрал ароматно парящую тарелку, вилку, стакан чая, сел на свободное место и...

В коридоре перед самой дверью в комнату двое затеяли громкий, продолжительный разговор. К ним присоединился незнакомый обладатель хриплого пожилого баса, который искал невесть какого Максимку и в процессе поиска так навалился плечом на дверной косяк, что внутри комнаты хрупнула и осыпалась на пол слабая штукатурка.

Неизвестный методично опрашивал проходящих мимо, никого не пропуская, но никто, естественно, Максимки не знал.

На мгновение сердце Макса преисполнилось благодарностью: наши люди не сдадут за тридцать сребреников, чего не скажешь об этих мерзких прохвостах вахтёрах. Среди бела дня им кого попало пустить в общагу ничего не стоит! Запросто! А вот когда приличному человеку надо гостя в комнату провести, тут уж берегись: начинают корчить из себя бесконечно большие величины, с важным видом документы требуют, будто первый раз видят. «Кто вы, собственно, такой, да по какому праву, зачем к вам девушка в пол одиннадцатого ночи?» А сейчас бомж – не бомж, проходите, пожалуйста. Убийца – милости просим! И чего хрипатому от того Максимки надо?

На пятнадцатом билете, ни с того – ни с сего, Макс заснул и проспал полтора часа драгоценного времени.

Как всегда приснился самый идиотский сон, какой только можно себе вообразить. Нет, чтобы тема какая-нибудь наитруднейшая во сне целиком понялась сама собой. И сразу три билета выучились бы в автоматическом режиме. Или, на худой конец, обед славный какой померещился, пусть, к примеру, даже самый простой, комплексный, из трёх блюд, с двойным вторым в столовке соседнего общежития, у экономистов, там здорово и дёшево кормят, а лучше бы сразу что-нибудь из меню ресторана «Радуга».

Чтобы салаты подали обязательно, к примеру, оливье, и просто с помидорами и огурцами, с зелёным лучком, укропчиком, да побольше! Потом как полагается в приличных местах рыбы заливной поднесли, не забыли отварной телятинки нарезать, неплохо колбасы копчёной на хрустальной тарелочке, сервилад тоже – милости просим, сыра деликатесного, алтайского, тоненькими пластиками разных сортов, а к закуске не грех и бутылочку винца, но не портвейна конечно, лучше полусухое красное, хотя, учитывая ситуацию, пожалуй, воздержимся на сегодня.

Макс даже во сне не такой обалдуй, как сосед по комнате бывший подводник Фёдор Иванович, который, собираясь на экзамен и расовав шпоры за подтяжки, делает хороший глоток из своей бутылочки, «чтоб разговорчивей стать».

Благодарим покорно, ежели Макс примет чуток, до такой степени может разойтись да растрепаться, что и пара в зачётке вовремя не остановит. Обойдёмся скромной чашечкой кофе настоящего из молотых зёрен, а пирожных пусть на выбор самых разных принесут, а главное груши на десерт, официант, кило три – четыре, много не надо. Сладкие, сочные, жёлтые груши, чтобы почти прозрачные лежали горой на блюде, и просились в натюрморт художника Рембранта.

– Официант, не забудьте Рембранта пригласить к грушам! Пусть рисует, нам не жалко.

Приятно будет кисточку виноградную пощипать, дыньки откусать, только настоящей туркменской, сладкой как мёд, тающей во рту. А под занавес взять и обожраться на полную катушку пятью порциями мороженого в серебряных фужерах с вишнёвым сиропом! Вот это я понимаю, сон! А что

на самом деле приснилась? Ерундистика наиглупейшая. Рассказать кому неудобно.

Приснился маленький сгорбленный старикашка с пронзительными глазами, седой кудлатой бородёнкой, которую он закручивал грязным пальцем, сидя на жухлой октябрьской траве, посередь неоглядного чистого поля поздним вечером.

Оказавшись в незнакомом месте, Макс оглянулся по сторонам: над землей сгущалась ночная мгла, вдали полыхал большой костер, около которого верхом на табурете сидел цыган и наяривал на баяне, а цыганки, распродав за день наркоту, пели и плясали.

В поле медленно двигались, цепляя сухую низкорослую траву стреноженные цыганские кони. Одна кобыла стояла почти рядом.

«Ты меня не бойся, – сказал Максу старичок, доверительно скаля щербатые зубёнки, подмигнул, заправил длиннущую седую бровь за ухо, – я же маленький ишшо, всего шестая сотня лет идёт, а это очень, очень мало, юноша пока. Женат, правда, на Фенечке, но то случайно вышло, не со злого умысла. Видишь, учуся здесь? Ты, небось, на кровати своей лежишь, развалился как барин, а я в чистом поле привык заниматься с детства. У нас тут тихо, спокойно, ты не бойся, всё будет замечательно как хорошо».

Старичок не имел к цыганам никакого отношения. Те существовали сами по себе, хоть и располагались в отдалении, от того не были менее реальными.

Вот точно такие цыганки в чёрно-красных платках весь день толкутся возле ювелирного магазина «Рубин» на проспекте Ленина, точь в точь, просто как две капли воды. Блестя чёрными гипнотическими глазами заговаривают с прохожими, предлагая купить золото у обнищавших граждан, и так их там всегда много, буквально не пройти, приходится силой протискиваться.

«Чего ты тут, а? Чего толкаешься? Растолкался! – кричат цыганки громко на всю улицу, – товарищ милиционер, а этот толкается здесь. Заберите его!».

А старикашка почти прозрачный, хоть и силится, чтобы Макс его заметил и поговорил с ним, вроде нищего, что норовит усесться прямо под ноги на узкой лестнице у Почтамта.

Макс с завистью наблюдал, что тот не врёт насчёт учебы, бойко поглощая параллельно тысячи информативных потоков, мысленно рассказывая кому-то выученные уроки по десяткам дисциплин, дискутируя по сотням других, успевая накручивать на остренький грязный палец клочки седой бородёнки, бесстрашно отбрасывает вырванные волосы, и, с научным интересом юнната из биологического кружка разглядывает ворону, прыгающую по полю.

«Меня зовут Або, – подмигнул старикашка Макс, – Або Цифал».

Кобыла подошла к пожилому ученику, фыркнула прямо в ухо тёплым, влажным, животным теплом. Макса передёрнуло, точно в него дунули. Або Цифал хихикнул в другое ухо.

«Не отвлекаться!» – подняли крик педагоги, – «Чёрт бы вас побрал», – подумал странный школьник Або, восстанавливая утраченные контакты, но на него и не думали обижаться.

Какие там обиды! Абсолютно никаких: профессоров развелось с избытком, школяров же, наоборот, сильно не доставало, и с каждым столетием диспропорция только увеличивалась. С другой стороны педагогический зуд, всем известно, куда прилипчивей лишая.

Самым любопытным во всей этой истории, с точки зрения Макса, было первородное чувство, что Або не пред ним пребывает, а в нём сидит где-то внутри мозга, говорит в правое ухо, в левом же гробовое молчание, будто в испорченной акустической колонке.

«У вас режим моно?» – спросил Макс, в ответ Цифал опять хмыкнул, без удержу болтая с тысячью других людей и, как ни странно, студент всех понимал и знал, как сам Або.

В том числе, не представляло никакого секрета обстоятельство, что гений низкой категории Або Цифалус покинул свой родовой пузырь, и стало быть родился уже двухсотдвадцатилетним старцем. Как полагается младенцу мужского пола, с красной плешью, мокренькой седой бородкой и обилием недоброкачественных папиллом на шелудивом фиолетовом тельце.

Сросшийся копчик, дефект гениталий, заячья губа, волчья пасть и куриная грудь довершали привычную до обыкновения картину. Зато сигнатура была на должном уровне. Только такие спартанцы и выживали в поздние времена кострового периода.

Левое полушарие головного мозга носило черты устранимой дебильности, но по совокупности данных и общей клинической картине приёмная инкубационная комиссия всё же зачислила Або в сонм гениев, выдав при аттестации невысокую начальную категорию.

Это всё Макс наблюдал собственными глазами, и картинка одна смешнее другой мелькали калейдоскопно и даже сам юноша-старичок в сгущающейся темноте, и кобыла, и цыгане, с их неистовыми плясками, были теми же картинками, что двигались одна за другой в голове, не более.

Более трёхсот лет Або валандался по лицам, колледжам да университетам, путешествуя из города в город.

Круг учителей неумолимо сужался: если когда-то его мог обучать практически каждый встречный, теперь имелось не более двадцати тысяч посвященных во всем мире, могущих объяснить нечто существенное в той модной дисциплине, которую он избрал в качестве специализации: космобиологии. Нынче писком сезона стала космопсихология, но и в ней Або обещал Фенечке стать супердокой, ежели та перестанет баловать с Зиком, и шибко докучать с ремонтом.

Как все клоны, он любил путешествовать сигнатурно.

Особенно влекли к себе старые заброшенные города, откуда поспешил убраться род людской, с огромными, во много раз превосходящими их кладбищами. Не ища приюта на ночь, укладывался прямо на обочине дороги в мягкую невесомую пыль привычным ко всему вахтовиком, смотрел

в ночную черноту космоса, пытаюсь уловить закономерность пришедшего хаоса. Космос нарушил придуманные прежде системы, сломал классическую гармонию, то и дело пугал непредсказуемыми выходками.

Вдруг Або хихикнул, нацелился в дальнюю туманность, пошевелил её слегка своей мыслью, провоцируя очередной катаклизм. Что там началось! Но ежели Всевышний создал Або и наделил его соответствующими возможностями, и теперь в голове Або родилось горячее желание дать психического пинка куче звёзд, то в этом присутствует великий божий промысел, а он, Або, лишь его осуществил, не удержался, нарушая мирские законы, которые синклит мудрецов стряпает ежедневно, как горячие олады. Все балуются, он что ли один?

Макс слушал, понимал, и в то же время не покидало странное ощущение нереальности. То есть, конечно, какая к чёрту во сне может быть реальность, а он уже отчетливо понимал, что спит, и пора бы проснуться, да выучить проклятый пятнадцатый билет, на котором сидит, нет, лежит с самого утра, только вот сил пошевелиться нет.

Рассказывали-то ему много чего со всех сторон, но имелось в дополнение ощущение и, надо сказать, не особо приятное, что кто-то у него в мозгах втихаря копается, шелестит прочитанными листами, кажется, этот самый Абушка, пусть не нарисованный, а всё же картинка, что сидит, и босой грязной до черноты пяткой елозит по стерне, а на самом деле прячется внутри его головы. И тут учителя разом перешли на непонятные наречия и промеж собой тра-та-та, – обсуждают, спорят на его, Максимкин счёт.

Хоть кобыла настоящая приснилась, натуральная, а Цифал – тень человеческая, сигнатура одна. Стоп. Что такое сигнатура? Что-то слишком знакомое. Очередной термин, изобретённый профессором Щуром? Наверное, дальше по конспекту встретится, или пролистал уже. На экзамене спросит обязательно, старый хрыч, и если сможешь определение дать, дополнительными вопросами засыплет. Проскрипит: «Опишите мне сигнатуру второго порядка». Что ему скажу? Обалдеть можно от ваших терминов, товарищ профессор. А он мне: гусь свинье не товарищ! А я: тогда извините, полетел. И полечу с парой в зубах. Пора просыпаться, время уходит, завтра экзамен у Щура.

Но проснуться не мог, не пускали.

– Неужели перед нами ученик того самого праЩура? – взвился Або Цифал изнутри мозгов, – да святится имя мудреца нашего. – Сомнительно, ведь ты, голубчик, ничегошеньки толком не знаешь. В мозгах сплошь пустоты и глупости, вроде шоколадной Снежаны.

Макс потряс головой.

– Вы кто, НЛО? Меня что, забрали? – спросил, натужно краснея от воспоминаний людей, которых захватывали инопланетяне.

(Когда НЛО хватили этих несчастных, то у них, по рассказам последних в популярных телепередачах, как правило сканировали различные органы, особенно интересовались половыми. От этой мысли протяжно заломило в

сорванном животе. Те, кого НЛЮ впоследствии возвращали, в один голос жаловались на неприятные ощущения, возникающие при этом).

– Меня тоже сканировать будете?

– На фиг надо.

Або показал язык, хмыкнул, исчез, оставив Макса и кобылу удивленно смотреть друг на друга, что впрочем, продолжалось лишь одно краткое мгновение.

## 2.

**Американской голодный койот и техничка Раиса. Барабашка Фёдора Ивановича телеграфирует: СОС! Катя Шорохова собирает деньги на свадьбу Снежаны. Фантастическая подставка.**

Укушенный клопом в четыре часа по полудни, Макс тотчас вскочил, жутко тоскуя по виноградной кисточке, пирожным и бифштексу, которые ему так и не принесли в ресторане «Радуга» нерасторопные официанты, высунул голову в коридор, и с горя прокричал три раза койотом, чем значительно улучшил свое личное внутреннее самочувствие.

Но дошёл до приступа неукротимого бешенства молодую мать, сорокалетнюю техничку Раису, жившую через две двери на их этаже. По коридору как раз проходил чужой человек в мятом пиджаке, с торчащими на затылке рыжими вихрами, Макс проорал прямо ему в спину.

Техничка давно мечтала поймать американского волка, нарушавшего общественный порядок без разбора и днём и ночью. «Деканат по таким сволочам плачет, – заявляла она громко на кухне, чтобы все слышали, – вот дайте срок, всё равно ведь поймаю змея и сообщу замдекана, товарищу Дееву, тот уж с ним разберётся как полагается. Снимут с миленького три шкуры разом, вплоть до отчисления. Взвоят, собака, по-настоящему, дайте срок! И пусть, пусть, так ему, гаду, и надо!».

На сей раз Раиса собиралась идти на базар: купить килограмм лука. Она стояла прямо перед дверью и выскочила из комнаты почти мгновенно, но как всегда недостаточно быстро для обнаружения преступного элемента.

Полу - мгновением ранее Макс затворил дверь.

Крик голодного койота ещё несколько раз пронёсся в длинном пустом коридоре этажа туда – сюда затухающим эхом. Раиса остолбенела от изумления: крик вот он летает, а волка нет – как нет. Рыжий чужой мужик явно не в счёт, сам от неожиданности выглядит ошарашенным из-за угла дубинкой.

От ужасного нервного расстройства она ушла за луком, забыв взять со стола десять приготовленных рублей, и вскорости вернулась не солоно хлебавши.

А виновник происшествия лежал на кровати, размышляя: “Всё! Если завтра получаю трояк, не видать мне стипендии как собственных ушей. Полная бамбарбея керкуду тогда предстоит».

Иначе говоря, развитие событий предвещало лечебное голодание на весь следующий семестр.

Он повернул голову вправо. Однокурсник, будущий астроном Фёдор Иванович, отсыпавшийся без зазрения совести на кровати после ночного бдения в обсерватории, даже ухом не повёл на его голодный вой.

Придя утром с дежурства у радиотелескопа, он со страшно довольным видом достал из шкафа бутылочку дрянненького портвейна, отпил глоток, крякнул, красные с недосыпа глаза победоносно заблестели и вытаращились, аккуратно заткнул пробку, спрятал бутылку в уголок меж трико и маек, и залег себе дрыхнуть.

Надо будет тоже устроиться куда-нибудь подрабатывать, так ведь декан, зараза, не даст справку: «И так учишься плохо!». Чёрт с вами, тогда буду ходить разгружать вагоны на товарную станцию.

Ой, лучше и не вспоминать, чем закончился последний поход.

Тогда Макс неудачно принял ящик с гвоздями, брошенный со штабеля, прямо на живот и немного надорвал пупок. По этой причине стало больно обниматься со Снежаной на чёрной лестнице, вследствие чего меж ними скоро наступило резкое охлаждение, будто чёрная кошка пробежала. К тому же на станции запачкал солидолом джинсы, а вдобавок их обманули – бессовестно занизив расценки, и даже те несчастные копейки выплатили лишь спустя полтора месяца, после многократных хождений на товарную к начальству, будь оно неладно.

– Слушай, это не ты стучишь? – вдруг спросил Фёдор Иванович не отрывая глаз и не меняя позы.

– В смысле? – Макс даже вздрогнул от странного вопроса.

– Ну, я слышал сейчас, как воешь в коридор. Между прочим, очень многие мечтают открутить башку тому неуловимому идиоту, который народ будит по ночам. Лично знаю по крайней мере трёх семейных парней с нашего этажа, которые ищут какого-то койота. А койот, оказывается, – ты, вот где номер! Живём в одной комнате скоро год как, а я и не догадывался. Это к тому говорю, что может, раз воешь так скрытно, то и стучишь потихоньку: тук-тук? Тук-тук-тук? Вот так? А?

Макс вскипел с быстротой чайника в горах.

– Ты, Фёдор Иванович, с недосыпа вконец оборзел. Что, уже и повить нельзя для поднятия настроения? А чтобы Макс кому-то на кого-то стучал, нет, ты вконец свихнулся в своей обсерватории? Никакая комета не попадала сегодня в башку?

– Не придуривайся, когда старшие по званию серьёзно спрашивают. Вот сейчас только что, кто тихонько выстукивал у меня над ухом, скажешь не ты?

– Скажу: не я. Я сейчас дрых как сивый мерин, в то время как надо было билет мне, балде, учить. Понял трагедию?... Стоп, это у нас в комнате? Или соседи?

– Да нет. Я к ним уже ходил, спрашивал. К тому же они не знают азбуки Морзе.

– А я знаю? Что, прямо на морзянке стучат?

– Конечно. Тихонько настукивают и настукивают. Вот постой и сейчас, слышишь?

– Слышу, точно в нашей комнате. Прямо возле стола с твоей стороны, только непонятно откуда. Слышь, здорово! Вот здесь слышнее всего, а с чего ты взял, что это морзянка? Непохоже.

– Э, салага, не ты ж на подлодке служил, а я. Мне как специалисту положено знать.

– А на черта тебе морзянка? Радист что ли? Про торпедный расчёт, значит, брехал?

– Ничего не брехал. Положено знать систему сигнализации и баста, я её знаю. Для примера допустим невозможное, что лодка в аварийном состоянии хлопнулась на дно, и электронная аппаратура вся разом вышла из строя. Спасатели прибыли со всего Северного флота, возле корпуса водолазы толкутся, как мухи на дерьмо, а нам надо изнутри информацию передать, сколько человек в живых осталось, в каком состоянии реактор, стоит ли им сильно торопиться, или команде уже давно всё на хер-похер. Далее следует сообщить, что произошло, в каком отсеке, вот и стучишь по корпусу разводным ключом как да что, вплоть до самого последнего посинения.

– Ну и что этот... тут у нас стучит? На какую тему?

– Кто этот?

– Ну, барабашка эта, которая у нас поселилась, чего она выстукивает?

– Всё, замолчал. Понял, что запеленговали голубчика, сообразительная вражина попалась. Встретились бы мы с ним в открытом океане... Сразу бы у меня достукался. Слышь, был у нас старшина второй статьи по фамилии Бардуков, он всегда говорил, когда не в настроении: «Ты у меня смотри, достукаешься!»

– А чего он стучал, разобрал?

– Кто? Бардуков?

– Нет, этот... эта, барабашка.

– Ничего интересного, обычное дело, что полагается в таких случаях: SOS передавал, обыкновенно. Так мол, и так, Сёма SOS, Сёма SOS, без перерыва долбит и долбит одно и то же. Кстати, тебя там какой-то рыжий в коридоре разыскивает.

Валерка отвернулся лицом к стенке и ненатурально захрапел. Макс полежал-подумал и рассмеялся.

– Молодец, здорово разыграл, как по нотам вышло, теперь квиты. Только слышь, парням тем не рассказывай про койота, договорились? У них же чувства юмора ни грамма. Странная история происходит с людьми, аномалия на ровном месте: пока неженатыми ходят промеж нас, вроде – нормальные парни, как все: по ночам в пульту режутся, сами любой прикол друг другу устраивают, как женятся – всё, пиши пропало. Ночью спать начинают, попробуй магнитофон по соседству включить, – с кулаками кидаются, ровно ненормальные какие. Одно слово – женатики.



– Ещё раз без разрешения заорёшь, я тебя лично пристрелю из пневматической табуретки. Не мешай спать, когда человек со смены пришел.

– Да спи ты, спи, – Макс обиженно вздохнул.

Комната студенческого общежития, где он обитал, показалась как никогда грязной и запущенной. Пол не мыт месяца два, под кроватями на чемоданах лежит толстый слой пыли, на столе винегрет из книг, конспектов и шелухи семечек подсолнуха. Стены ободранные, в коричневых пятнах раздавленных клопов.

«Из двадцати семи билетов худо-бедно знаю только пятнадцать, – продолжил пессимистические размышления Максим, – да и те на самую слабую тройку, а остальные ни сном, ни духом, и при всём том, что сдавать придётся не какому-нибудь ассистенту Лавочкину, а самому профессору Щуру, известному своей придирчивостью и жуткой ненавистью к шпаргалистам. Так стоит писать шпоры или нет? Вот в чём вопрос. Имеет смысл вообще сейчас учить, может сказаться больным и не пойти на экзамен? Легко сказать. Тогда надо срочно бежать в межвузовскую поликлинику, доставать справку, а кто же мне её даст, какой идиот? Может хирург? Насчёт пупка поплакаться?»

Макс закрыл глаза, положив сверху раскрытый учебник. Положение его было ужасным, и час от часу становилось всё ужасней. В дверь постучали. «Да, да, войдите, мы вас ждём!». Музыка, доносившаяся из коридора, стала слышнее: крутили Татушек - лесбиянок, бегущих в обнимку зимой через тайгу на бензовозах из сибирских лагерей в белых гольфиках и коротких платьицах, что вызывало слёзы на глазах доверчивых японцев. Оттуда же, из коридора соблазнительно пахло простой, замечательной пищей: картошкой и капустой тушёных с колбасой. Макс чувствовал себя собакой, на которой ставят опыты по изучению рефлексов. До чего жрать хочется, боже ты мой!

Кто дверь не закрывает? Криницын убрал книгу с лица. В комнату вошла староста группы Катя Шорохова, девушка во всех отношениях положительная. В руках она держала тетрадку и карандашик, глядела на Макса собранно, в пристальных глазах плавали льдинки сомнения.

– Спишь?

– Вздремнул немного.

– Какой билет учишь?

– Двадцать седьмой, – хладнокровно соврал он, крепко прижимая учебник к груди.

– Молодец.

– Знаю.

Лицо Шороховой округло, как китайская диванная подушка, добродушно, и вся она большая, с белокурой косой излучает заряды исключительно положительной направленности. Попросить займы до стипендии рублей пятьдесят, что ли? Может лучше двадцать, для верности? Только что на них купишь, на двадцать рублей?

Некоторое время Макс и Катя взаимно изучали друг друга. Первой не выдержала староста:

– Тут мероприятие одно намечается, – опустила длинные пушистые ресницы она, – сразу после экзаменов у Снежаны свадьба в столовой «Радуга». Идешь?

– Снежана выходит замуж? Ничего себе – приятная новость. По сколько скидываемся?

– По столовнику.

– Отлично.

Макс поднялся, достал из тумбочки портмоне, которое купил сдуру на стипендию, когда у него возникло непреодолимое желание иметь эту красивую вещь, эффектно развернул, зная, что там нет ни только сотенной, а даже копеечной монеты.

– Послушай, Катя, скажи откровенно, удобно ли мне идти на свадьбу к Снежане? Видишь ли... ну, ты сама понимаешь, что я имею в виду...

Будто ожидая этого многозначительного заикания, Шорохова согласно закивала чёлкой и посмотрела на Макса с участием.

– ... мы с ней... некоторым образом... того... дружили, причём совсем недавно, ещё так свежо в памяти, – отбросив кошелек в сторону, Макс понуро сторбился: «Зачем выпендрился? Как теперь просить двадцать рублей?»

– Да, конечно, – Катя глядела с пониманием и глубоким товарищеским сочувствием.

Дружили – мягко сказано. Не было ни одного тёмного уголка на всех пяти этажах чёрной лестницы, грубо называемой в студенческой среде «целовальником», где бы Макс не обнимал Снежану, прижимая её тоненькую фигурку с силой не растроченной страсти к чугунной батарее центрального отопления, висящей на лестнице между площадками. Батарея скрежетала, приподнимаясь на крюках, а Снежана не уставала целовать Криницына головокружительными получасовыми поцелуями, из-за которых оба едва не падали в обморок от кислородного голодания.

Раздавленные и полужадушенные друг другом, время от времени они в изнеможении падали на красный пожарный ящик с песком на пятом этаже, устраивая там небольшие перекуры с дешёвыми сигаретками, выпуская из ртов слабое голубоватое дыхание, которое смешивалось в облачка, уходящие в темноту, к потолку. Сотлевшие до самого фильтра окурки бросали в висевший напротив шкаф с пожарным брезентовым рукавом и, гонимые непреодолимой силой взаимного притяжения, вновь торопливо возвращались в темноту обниматься, качать многострадальную чугунную батарею, задыхаясь во мраке от поцелуйного изнеможения. Всё повторялось многократно, часами с вечера до глубокой ночи.

Вспомнить об этом и сейчас чрезвычайно приятно, однако Макс лишь горько вздохнул, застегнул портмоне на все кнопки и застёжки, сунул подальше в глубь тумбочки, после чего вновь сел на кровати нахохлившись замёрзшим воробьём.

Жрать хочется просто зверски. Между прочим, в «Радуге» на свадьбах всегда подают заливное мясо, отбивные готовят размером с тарелку, не

верите? Чистейшая правда, два раза был на свадьбах и оба раза давали... пусть не с тарелку, а с большое блюдо – это уж точно без малейшего вранья, картофель-фри накладывают высоченной горкой. Нет, это невыносимо. Винограда с грушами, конечно, не будет: всё же студенческая свадьба. Ну и чёрт с ними, в таком случае, перетопчемся. Интересно, за кого она выскочила?

– Да, тебе лучше не ходить, Максик, – Шорохова потопталась на пороге, закрыла за собой дверь с осторожностью, достойной двери палаты для тяжелобольных, в диагнозе которых уже имеется характерная пометка младшему медперсоналу о том, что ранения несовместимы с жизнью, и никакое другое лекарство, кроме абсолютного покоя тратить не рекомендуется.

Помятый человек с зелёным кошачьим взглядом по-прежнему стоял у дверей, к чему-то прислушиваясь.

– Максимку не знаешь? – грубовато спросил старосту.

– Не знаю никакого Максимки, – отрезала Катя, и поставила в списке напротив фамилии Криницына прочерк.

Проходившая мимо Зина Сверчкова сунула нос в листочек и, увидев вычеркнутого Макса, прошептала:

– Ну, что он?

– Переживает смертельно. Лежит пластом, не встаёт.

– Вот Снежана... вот даёт, девка, прикурить. Может, ему чем-нибудь надо помочь? Как бы...

– Иди, Зина, учи билеты, – отечески посоветовала Шорохова. – Пусть переживёт драму самостоятельно, это необходимый этап возмужания, по себе знаю.

– Да? – Зина простужено шмыгнула носом, – так жалко ведь человека. Может, всё-таки надо... или, думаешь, не стоит?

– Не стоит, не стоит. Иди, учи.

Посидев немного на кровати, Криницын произнёс вслух:

– Конченный я человек! – после чего завалился прямо в шлёпках на кровать, отбросив учебник куда подальше. – К чёрту!

Достал с подоконника пухлый томик без корочек, с оторванными первыми страницами, который нервная уборщица Раиса, неисправимо злая и жалкая одновременно, по случаю тяжёлой жизни матери-одиночки без образования, плохой одежды и еды, казённо-служебной комнаты, использовала на кухне в качестве подставки под сковороду.

Максу одного взгляда хватило понять, что книга по фантастике, и пока техничка тащила сковороду в комнату кормить своего забитого ребенка, немедленно умыкнул подставку для прочтения. Теперь он осторожно держал засаленный фолиант пальцами, с начальной, шестнадцатой страницы разве что не капало растительное масло, она была практически прозрачной...

**Раннее утро в городе Клондайке. Юная Фенечка и её древний муж Або Цифал. Утренние гости дома изгоняют мужа под кровать. Приятный во всех отношениях, кроме одного, незнакомец.**

... тридцать лет назад, в один из сумасбродных ранних утренних часов, какие приносит ночное омоложение, находясь в гормонально-возбуждённом состоянии, Або Цифал женился на Фенечке.

Таким образом, и его не миновала чаша сия. Зачем? Он не знал, как никто ничего не знал и не понимал уже в этом сломавшемся беззаконном мире. Захотелось и женился. Загадка сродни космической, уж кому-кому, а Фенечке глубоко плевать на весь космос с его загадками, как, впрочем, и большей части разумного населения планеты.

Что касается дебилов, те да, сутками напролёт рассуждали о противоречиях Вселенной, спорили до хрипоты, били друг другу морды, рвали бороды в клочья в ходе научных дискуссий, писали длинные письма, забрасывая вопросами вселенскую связь.

А Феня по рождению гений четырнадцатой категории, отказалась развивать способности, и хотя намного превосходила Або умственно, не защитила диссертации обязательного уровня, с которой справлялось большинство дебилов после столетней тренировки.

Предпочла сидеть на террасе старого дома, выходящей к морю, увитой плющом, с бокалом сухого вина в кругу поклонников. Поставив изящную ножку на тёплый мрамор, в том самом месте, где в полированной поверхности образовалась овальная шероховатая выемка, она как бы нашла саму себя.

Фенечка называла выемку по-разному, то «следом поколений», то «мой единственный след в истории Земли». Впрочем, дом был огромен, не дом, а длинный белостенный сарай с колоннадой на первом этаже и открытыми верандами на втором, где имелось неисчислимое множество комнат, чуланов, приемных и залов. Соседей в нём тоже пруд пруди, и даже таких следов на длинной – предлинной террасе с обветшалыми витражами и потёртым мраморным полом наберётся десятка полтора. Клоны любили жить коммунально, тогда удобнее и пакостить друг дружке и веселиться за компанию.

Утром Цифал проковылял из своей захламлённой спальни на террасу, подслеповато щурясь солнечным лучам. С Фенечкой он давно развёлся, собственно в тот же день, когда первый раз сошёлся, и потом ещё несколько раз они сочтались и разводились, а вчера, после долгого перерыва, зачем-то поженились вновь. Правда, ближе к вечеру: Цифал был несколько дней подряд стар, а Фенечка седа и, как всегда в сумерках горько пьяна, беззащитна и одинока.

Независимо от того были они женаты или нет, Або обитал в доме Фенечки примаком, не имея собственного жилища, часто занимался по ночам

вместо положенного омоложения астрономическими изысками, а днём мелким ремонтом по хозяйству.

Более всего проблем с перекрытиями и крышей старинного дома, грозившего вот-вот рухнуть. Скрипнув шейей, Або посмотрел вверх, на потолок зала, обнаружив новую трещину, пробежавшую от люстры до угла.

«Пора рвать когти, – привычно вздохнул, отправляясь далее, не слишком расстроенный гибнущим на глазах хозяйством, более переживая за собственное здоровье. – Вот нельзя так резко задирать башку, ишь, как шея полыхнула. Спокойнее, Абушка, спокойнее. Сегодня, авось, не рухнет. На наш век хватит. Всё одно звать лимитчиков, а с этим народом всегда столько хлопот, – Або заранее поморщился. – Или подождать ещё немного? Всё равно скоро всему конец. Пять дней осталось, пять жизней надобно прожить так, чтобы никому не было скучно».

Фенечка уже поднялась, как всегда после сеанса ночного восстановления и утреннего купания, юная, свежая, прелестная. Глаза сияют первозданной чистотой шестнадцатилетней девочки, нежнейшая кожа оголённых рук резко контрастирует с мужниной спутанной седой бородой и коричневым, словно кора древнего дерева, лицом патриарха.

В эти первые часы утра она была прекрасна, диссонанс между отмирающим и заново рожденным, будил огромную энергию – предвестницу грядущей, всепоглощающей любви.

Она желала, чтобы Або Цифал находился при ней в качестве необходимого катализатора будущего грандиозного счастья, ибо разница между старым мужем и юной женой всех забавляла, порождая массу детских шуток и невинных шалостей.

– Вот и наш школяр пожаловал, – переливчатой звонкой птицей пропела она, заметив Або, – выспался наконец? Здоров ты, дядя, дрыхнуть! А что у нас в таблице успеваемости? Опять двойка? Пора вызывать родителей на собрание!

Скользящим взглядом пересчитала гостей, прибежавших спозаранку. Небогатый урожай, всего трое: Чип, Зик и незнакомец – высокий, худенький, стройный, из таких со временем выходят превосходные любовники, их и учить не надо, схватывают с одного взгляда, а мужья никудышные: не терпят постоянства. Вот часа не пройдёт после свадьбы – мчится сломя голову на сторону за любой, только бы не сидеть на месте.

У незнакомца пышная каштановая шевелюра жёстких неподатливых волос, тёмно-карие глаза с голубоватыми белками. Милашка.

Приятная полуулыбка, казалось, навсегда приклеилась к чётко очерченным губам. С этой полуулыбкой он переводил взгляд с одного предмета на другой и слегка кивал головой, будто здоровался со всеми вещами по очереди. Фенечке очень захотелось встретиться с ним прямым и откровенным взглядом, долгим-долгим, вероятно когда-нибудь в будущем так и случится, но пока решила его слегка не замечать.

«И как надоело являться каждое утро? – спросила себя Фенечка уже с большой долей досадой на записных своих кавалеров Зика с Чипом. – Припрутся и торчат целый день, как будто делать больше нечего.

Плохо, когда прекрасно помнишь, что было вчера, позавчера и двести и триста лет назад, как была тысячу раз замужем за Чипом, изменяя ему с Зиком и сто тысяч выходила за Зика, изменяя миллион раз с Чипом и прочими жителями городка. Полторы тысячи лет помножить на триста шестьдесят пять дней – вот сколько жизней она уже прожила. Давно бы свела счёты с жизнью, если бы не умела влюбляться по-настоящему, что немногим ныне дано. Вон, к примеру, взять бабочку-однодневку Лолиту, её соседку, с раннего утра обнажается и лезет на крышу к шесту, крутиться, привлекая кавалеров. К вечеру или сама бросается вниз или старички-хахали сбрасывают надоевшую старушку, других вариантов нет. На следующий день её место занимает очередной клон-Лолы. А Фенечка, благодаря любви, живёт и живёт: с утра юная девица, потом замуж, потом изменяет мужу, расходится, и по новой замуж и так до обеда раза три – четыре, потом стареет, усаживается на веранде сплетничать, вспоминать былое, потом укладывается дряхлой развалиной в сигнатурный гробушник, изобретение Спасителя клонов – Мессии, да святится имя мудреца нашего, и за ночь – пожалуйста, восстанавливается в девицу. Хотя, бывает тоже оказывается на крыше, вертит хвостом у шеста. Как говорится, день на день не приходится.

Но единственное настоящее спасение наступает, когда ею овладевает любовный угар, тогда она обо всём на свете забывает. Вот пришел бы незнакомец один, тотчас положила ему руки на плечи и пригласила танцевать, хотя нет, она всё ещё замужем, а впрочем, почему бы и нет? Наплевать на старого мужа Цифала, пусть сам дерётся за честь своего мундира. Весьма интересно будет посмотреть. Но всему своё время, – затаивая интерес к странному молодому человеку, которого раньше не встречала в своей прихожей, подумала Фенечка. – Сумасшедшая предстоит интрига! Успеть быстренько развестись с Цифалом, далее замуж выскочить не позже двенадцати часов, вчера припозднилась до статуса старой девы. Впрочем, хорошо и то, что Зик с Чипом здесь, мало ли что случится, запасной вариант никогда не повредит. Нет, за этого гада Зика ни за что не выйду замуж сегодня, фиг ему с маслом, надо бы сначала отомстить ему за вчерашние фортеля, надавать хорошенько по мордам».

– Как провёл ночь, малыш? Небось шатался по цыганским таборам, волочась за старыми цыганками, красавчик ты наш? Или пялился в космические дали, с твоим-то зрением? Или жонглировал галактиками? Эх, не сносить буйной головушки за такие фокусы. Известное дело, чем занимался наш дамский угодник, знаю, знаю и не отказывайся.

Шутка по поводу достоинств Цифала вызвала гомерический смех. Среди молодёжи Або выглядел дедушкой, хотя и был моложе всех присутствующих. Фенечке уже перевалило за полторы тысячи лет, отсюда программа режима ночного восстановления требовала для неё не менее, чем десятичасового сна.

– Представьте себе, ночью якобы перепутал комнаты и завалился в гробушник родственницы, вывихнув ей при этом коленную чашечку. Она, разумеется, ни коим образом не претендует на памятник добродетели, но Цифал просто утренний террорист. Мог вообще загубить несчастную старушку, превращавшуюся в девственницу.

Решив, что ему самое время исчезнуть в своей коморке, где переждать приближающуюся грозу, Або сделал робкий шаг в направлении двери, однако момент был безвозвратно утерян – Фенечка сама двинулась навстречу с хищной грацией пантеры.

– Тебе совершенно нет до меня никакого дела! – воскликнула она, заломив руки, поднятые над головой, и в целом становясь в театральную позу, которая ей нравилась с утра больше всех прочих, чувствуя, что наконец-то незнакомец уставился на неё во все глаза, – сколько можно размышлять о космосах? Сколько можно учиться? Сколько вообще будет продолжаться такая жизнь, Або? – она мученически вздохнула, – варенье сварил, несчастный? Хоть какая-то от тебя, старика, польза. Потому терплю и не выгоняю. Або, ты абсолютно не понимаешь, до чего я страдаю! Пусть глубина моих чувств тебе непонятна, непостижима, пусть, я знаю: ты всегда скользишь по поверхности сущего, как жук – водомер по воде, страхась заглянуть вглубь. Молчишь, презренный старикан? Онемел что ли? Если не хочешь выглядеть прилично через восстановление, хоть бы побрился с утра, седая ты бороденка козлиная! Ах, нам всё равно? Да? Ну хорошо же, считай, что тебе удалось вывести меня из терпения, мерзавец!

С этими словами прелестница вылила вазу со персиковым вареньем в башмак Або, затем то же самое было проделано с вазой клубничного варенья и вторым башмаком, который он послушно подставил ей под горячую руку.

– Вот так, вот так и вот так!

«Он смеется! Как мил! – размышляла Фенечка, неотрывно разглядывая незнакомца.

Або тоже улыбался: глаза Фенечки – два солнечных оливка! И безумно смешно становится, когда она, стреляя такими жизнеутверждающими глазами, начинает воевать! Супершоу!

– Посмотрите, старая калоша имеет наглость смеяться! Сейчас задам кому-то хорошенькую трёпку!

Подобрав пышное платье юная жена-девица принялась гонять Цифала по террасам, комнатам, залам и спальням, в сердцах шлёпая половой щёткой худенькую спинку с торчащими позвонками, лысую голову и костлявую задницу визжащего испуганным поросёнком старичка-мужа.

Гости приняли самое активное участие в военной компании по изгнанию противного Або, стараясь оттолкнуть ненужного дедушку дальше в сторону, и подставить свои головы и спины.

То-то развернулась весёлая игра! Пользуясь общим столпотворением, Або выскочил с террасы, пробежал через залу в тёмную конурку, где опустился на колени и быстро-быстро заполз под кровать передохнуть.

Фенечка швырнула под кровать щётку, а молодые остолопы немедленно принялись кидать всё, что попадало под руки: тряпки, шмутки, табуретки, горшки с цветами. Цифал беспокойно вертелся, вскрикивал, ойкал, молился о конце света, плакался Спасителю, что его обижают и в грош не ставят – это страшно веселило бесшабашную компанию. В ход пошли ручки от кресел, пустые бутылки. Тут дедушке и впрямь пришлось несладко.

– Всё! Всё! – захлопала в ладоши девица, – будет с него! Под кроватью сам, небось, перевоспитается. Идёмте в сад!

Отталкивая друг друга, Зик с Чипом рванулись занимать места к хорошо известным танцевальным удовольствиям, поскользнулись на специально разлитом на мраморном полу Фенечкой оливковым масле и растянулись во весь рост.

Фенечка хохотала до упада, затем подхватила милого молодого человека под руку, таким образом оформилась первая танцевальная пара.

Тот смотрел задумчивыми тёмными, как вода в гнилом пруду, глазами индифферентно улыбаясь.

Фенечка застыла, разглядывая их. То было первое чудесное слияние взглядов. Волшебное противостояние продолжалось целый миг вечности. Фенечка испытала райское блаженство, словно при переходе сигнатуры через рубеж.

Ограждение танцплощадки вчера сломали и до сих пор садовник не заделал, бестолочь такая.

Кстати, где он? Где этот бездельник Цифал? Почему в саду беспорядок? Старый лентяй. Лежебока. Длинное платье ей мешало, отстегнув нижнюю часть наряда, отбросила в сторону, чтобы удобней было танцевать, оставшись в совсем коротенькой юбочке.

Новенький не проявил ни малейшего интереса к стройненьким ножкам: стоял, опустив руки по швам, рассеянно осматривая ветки, с которых пролилась роса.

Казалось, ему непонятны самые простые, даже тривиальные вещи: как такое могло случиться? Глаза восхищённо мерцали чёрным сиянием при виде мокрых листьев акации, а совсем не фенечкиных ножек, от форм которых, даже старина Цифал обычно начинает рассуждать о своём космосе сладко причмокивая.

А ведь у самого совершенно изумительные, волнистые волосы, по каким просто до смерти хочется провести рукой. Она вздохнула: «Придётся попотеть с этим недотёпой». И более уверенно: «Я выйду за него сегодня. И пусть попробует кто-нибудь мне в этом помешать!»

Что ни говори, Фенечка умела бороться за своё счастье. Это признавали все, особенно многочисленные завидующие родственницы, жившие в соседних с ней квартирах огромного дома, на собственном богатом опыте знавшие, что становиться на пути Фенечки смерти подобно. Своего она добьётся, будьте уверены! Вот только время здорово поджимало.



## 4.

**Цифал с Петровичем увлеклись чтением Книги Судеб, хранящейся в памяти Бога Живага. Комиссары Тройки реквизируют сиротский сундук в интересах революции и высылают крестьян в болота Нарыма.**

Когда молодежь убралась в сад, Або кряхтя вылез из-под кровати, вытащил за собой подушку и свалился поверх сбутовленной постели, не включив гробушника. Через минуту он храпел задрав клочкастую бородёнку к потолку, отправив соматическую сигнатуру в путешествие по Вселенной.

Уже какую ночь подряд Цифал не проводил сеанса восстановления, ни тем более омоложения. Рисковал, конечно, но сигнатура позарез требовалась для путешествий.

К слову сказать, термином «сигнатура» из учебника профессора Щура, которое никак не мог припомнить студент Криницын, с единственной добавкой прилагательного «соматическая», называлась первичная оболочка души, которой клоны научились управлять. Именно она, соматическая сигнатура подвергалась исправлению во время сеансов лечебного сна всех клонов, за исключением тех, кого называли трудоголиками. Цифал предпочитал и во сне трудиться, а не лечиться.

С точки зрения молодых людей старик совершенно безобразно храпел, валяясь поперёк гробушника, в то время как его сигнатура унеслась на встречу с сигнатурой одного из самых пожилых учителей Або – Петровича, недавно решившего скончаться по семейным обстоятельствам.

Всем хорошо известно, насколько душа становится общительной и энергичной после кончины физического тела, какое огромное число встреч она проводит с бывшими друзьями, коллегами, родственниками перед своим окончательным распадом, местами здорово досаждая им, принося нервные расстройства.

Как водится, сигнатуры Або и Петровича неслись в орто – направлениях, при которых удобнее всего поддерживать беседу, потому что с одной стороны чувствуешь близкий локоть товарища, будто прогуливаешься с ним в осеннем парке, ведя неспешный разговор, по усыпанным багрово-жёлтыми кленовыми листьями мокрой дорожке, под одним зонтом, а с другой стороны при таких условиях скалярные помехи, шумы, и недопонимания общего уровня практически равны нулю.

– Хулиганим помаленьку? – усмехался Петрович. – Громим Вселенную? Бога Живага не почитаем?

– Я? Да ни в жисть! Ни сном не ведаю, ни духом не знаю.

– Не ёрничай. Кто галактику МХ – 1563 в пыль стёр, изобразив взрыв сверхновой? Ладно, отмолил тебя в синклите, прощён в последний раз. Отныне в игру тебя решено ставить самую интересную, назначен переводчиком Книги Судеб, созрел юноша для бранных дел. Прямо сейчас этим и займёмся... если, конечно, никто не помешает... У, черти полосатые!

В пространстве обитания сигнатур возник белый луч, осветивший широкую спину Петровича, одетого в старую ватную фуфайку. В переселенческом поселке дядя Бодаев был известен как большой специалист по качеству древесины, сорта определял, постучав по кедре костяшками пальцев.

Прожектора с вышки фильтровали возвращающуюся из лесу колонну, в его белом молниевом свете виден был в морозном воздухе пар дыхания над колонной, передние уже приготовились для шмона.

Было восемь вечера, в тайге зимой тёмная ночь, охранники начали досмотр колонны при входе в поселок. Луч прожектора перескочил со спины Петровича на Або.

– Повернись к ним спиной, – сквозь зубы сказал Бодаев дочери.

Ей было девять лет, тонкая, высокая, голенастая, вся в покойницу мать, работала на лесоповале сучкорубом в одной бригаде с отцом. На ней старая бабкина шубейка, слишком широкая, охваченная пенькой, платок и валенки взрослого размера, за широкие голяшки приходилось наталкивать тряпок, чтобы не хлопали при ходьбе, и за отвороты не засыпался снег.

Верка отвернулась.

– Вот вам подтверждение удивительного опыта, – сказал сотрудник института краснощёкому корреспонденту телевидения, – при разрушении частицы образовалось два фотона, которые разлетелись в разные стороны Вселенной.

Наблюдатель снимает данные с одного фотона, например, проецирует на ось X. Возможно сделать на ось X, можно на ось Y, но, допустим, он предпочёл ось X. Тогда с другого фотона можно сделать проекцию тоже только на ось X! Представляете, этот другой фотон как бы не позволяет наблюдателю снять показания на ось Y. Получается, что он «узнал», что произошло с первым фотоном в другой части Вселенной, причём как-то получил эту информацию со скоростью во много раз превышающую скорость света. На этом принципе «сцепленности родственных фотонов» и будет строиться поколение новых компьютеров.

– А как же общая теория относительности Эйнштейна?

– А никак.

Поведение тяти Верка не одобряла.

Сегодня они несли в поселок гостинец мачехе и малым сёстрам, её детям, несколько кедровых полупустых шишек, которые тятя напихал в пимы. Для этого пришлось специально встать в отряде последними, надеясь, что мадьярская охрана устанет, замёрзнет и не заставит их разуваться. Конечно, шишки вам не нож и не ружье, однако всякое может случиться, примеров было достаточно. Могут припать статью за подготовку побега: скажут, что продукт накапливают и всё тут, поди отопрись тогда.

На лесоповал семейство угодило за небольшую провинность на три года: тятя отругал комиссаршу, прибывшую в составе Тройки организовывать в деревне никому не ведомую коммуну, в которой всем полагается жить вместе.

Комиссарша ходила в чёрной кожаной куртке, чёрной юбке и высоких армейских ботинках со шнуровкой, держала на поясе в длинной кобуре наган, в петлице кумачовый цветок.

Пашка Мишин обращался к ней восторженно-официально: товарищ Роза. Лицом белая, а волосом и глазами – иссиня черная, волос кручёный, какой и у цыганок не часто бывает, голосом тоже наособицу, даже бабы исходя руганью на городском базаре, визжали менее противно, а комиссарша будто иначе и говорить не умела: вела высоко и пронзительно, словно ругалась. Или ещё похоже на то, что собиралась рожать, а этого никто вокруг не понимал, не спешил ей помогать и не грел воды.

Когда в селе объявили сход, народ сошёлся.

Мужики встали, как полагается, спереди, бабы сзади, а ребятишки держались в сторонке. Все три комиссара поднялись на срочно сбитый из свежих досок помост, дабы возвыситься над массами, но кричать почему-то взялась товарищ Роза. С первых слов про народную власть, которая знает, как надо жить крестьянину, мужики попятнулись и тревожно набычили лбы.

Изъяснялась она вроде по-русски, однако чужими, непонятными словами и мало что можно было в её речи разобрать. То, что доходило до сознания, определенно грозило большими неприятностями. Она постоянно цикала: ВЦИК. ВЦИК, ВЦИК, будто сплевывала сквозь щербатый зуб.

– Значит немцы нас завоевали, – оглянувшись к народу, выразил общее впечатление дед Нечай.

С ним согласились. Потому что, судя по повадке, комиссары были не православные, хотя и власти, а нехристи, лба ни один не перекрестил. Пришедшие с комиссарами молчаливые солдаты говорили меж собою негромко, на отрывистом непонятном языке.

Однако, что теперь? Власть есть власть, пусть чужеземной вдруг стала, а всё ж против ходить не гоже, в Писании так сказано. С другой стороны, шибко лоб разбивать никто не спешил. Коли новоявленная власть собирает народ в общую коммуну жить, и со скотом и с бабами, Карлой Марксой и Кларой Цеткин, то пускай себе идёт туда кто хочет, а мы в сторонке постоим, посмотрим.

Бывалому человеку с первого взгляда ясно, что товарищ Роза живёт с бравым комиссаром, что стоит слева, чуть сзади, спокойно, ласково и по хозяйски прикрывая женский тыл, а второй сутулый, невзрачный и, видно, сильно битый судьбой, жадно засмотрелся ей в рот, где чувственно и призывно трепещет розовый язык. С ним товарищ Роза покуда только целовалась на глазах у всей деревни.

Верно, баба-комиссар не знает толком, с кем ей нынче лечь, и это её страшно волнует, оттого она голосит, нервничает: хочет с двумя сразу, или

всей деревней в коммуны объединённой залечь почивать, как того требует из столицы неведомый грозный ВЦИК.

Странно деревенским и непонятно, почему бабу вперёд выставили кричать-лаяться, будто волкодава с цепи спустили, когда комиссары-мужики должны были сами новую власть объявить. Уж коли в столице царя скинули, и другое отныне мироустройство пойдёт, с чужеземным говором. Баба царства не построит. Никто против новой власти не роптал, хотя уже говорили, что видно немец в войне верх забрал и свои порядки пришёл устанавливать.

Что делать прикажете, коли по слухам фронты с немцами замирились, а потом и вовсе разбежались кто куда хотел, а царь от власти по немощи духовной отказался, устыдился, значит, править и опять же из-за слабости женской царицы к конокраду Гришке Распутину. За грехи царей всегда народ страдает.

Пахарь против власти не ходок. Власть – она для него не своя и не чужая, власть она и есть власть, тело от общества инородное. До бога высоко, до царя далеко. Зачем вот только беспутной бабе кричать дали – непонятно, это всех раздражало. Баба не должна властвовать, и не по уставу, и не к добру.

Бодаёв высказался громко: «Ну, мужики, ладно, пусть свои порядок устанавливают, раз государство сменилось, коммуна там, не коммуна, поживём – увидим, а эта бл... куда лезет?»

Верка слышала и видела, что произошло. У тяти, как у пьяного, что на уме, то и на языке.

В результате контрреволюционного заговора в тот же день у них отобрали коня Карьку, корову, овец, дом, всё хозяйство полностью, усадили семейство на телегу и под молчаливыми штыками, заполонившими деревню, свезли на пристань, а оттуда отправили согласно решения той революционной Тройки в дальнюю дорогу на лесоповал.

Их первыми, а потом остальных по порядку. Деревенский беспутный активист Пашка Мишин утащил в пользу сельского пролетариата мамин сундук. Мамино приданое, с которым она выходила замуж за тятю из своей деревни, и после её смерти оставшийся годовалой дочке. Сиротский сундук.

Бабка кричала: «Сиротский сундук-то хоть не трогайте». Какое там. Унесли вместе с сарафанами, вышивками и запахом мамы.

Далее всю деревню понемногу, помаленьку, за разные провинности, по излишнему наличию в хозяйствах лошадей и коров, выслали на спецпоселение в болота Нарыма. Бодаёвы того уже не видели, после узнали, и поняли, что им, оказывается, ещё относительно повезло. Как уголовников их всего на три года с лишением имущества сослали, а прочих в качестве злостного кулацкого отродья и классово - чуждого элемента навсегда изгнали с родной стороны на болотные кочки, на смерть от болезней, голода и холода.

Луч-прожектор погас. Собаки перестали хрипеть.

– Чего ты, Абушка, здесь наредактировал, голова садовая? Откуда брусчатка с каменными бараками в Нарыме в 1931 году?

Петрович быстро восстановил прежний текст. Вместо прожекторов сияла в морозной черноте полная луна, по обе стороны от тропы зеленоватые в её свете сугробы, дальше непроглядная темень леса.

– Откуда виселица? Чай не Германия. Здесь народ безымянно гибнет миллионами, надсажаясь непосильным трудом, холодом и голодом среди сугробов да болот. И без проволоки по тайге не убежишь, ни зимой, ни летом. И куда мужик побежит, бросив семью и детей? Вместо бараков – сырые землянки. Никаких столовых и норм хлеба по едокам. Без ничего людей сбросили с плота. Питание – чем бог пошлёт: клюква, что насобирали, корешки, да кора деревьев.

– Ну и фиг с ними. Что нам лимитчиков не хватает, что ли? Люди плодливые, ещё народят.

– Я тебе объективную реальность читать помогаю, разве одно шоу смехотворное повсеместно должно быть? Не синхронизируй с хрониками Голливуда. Саму Книгу Судеб космоса читай. Здесь правда о том, как народ доисторический уничтожался, наши предки, как-никак. Совесть-то научную надо иметь. Истинное чудо, что Космос память хранит. Божеское дело, не иначе.

“Какую такую совесть? Я клон в природе без комплексов, а не человечешко ледащенький...”

– Почему лиц ни у деревенских ни у ссыльных нет, что за кино? Такое шоу мне неинтересно.

– Книга потому что Судеб, а не видеоинформация. Записки, конспекты Бога Живаго. Кто-то ему устно поведал, а он записал.

– Бог пишет? И кто ему, Богу Всевышнему нашему единому и абсолютному может рассказывать?

– То-то и дорого, что Бог записал, чтобы мы сумели прочесть перед своим концом, поняли важное да спастись успели, воспользовавшись сими конспектами.

– Прости, милый, – заголосила сигнатура ученика Або, – прости Мессии нашего ради. Без шоу жить обрыдло, подрисовал маненько. Мы же с тобой живые клоны по крови. Дай стопы лобызну, не гневайся на дебила превеликого. Позволь расцеловать, любезного Учителя, вымолить прощение. Каюсь, Петрович, падаю ниц, рву на лысой глупой башке последние волоски и посыпаю кровавые раны пеплом дальних галактик, пусть будут язвы, грешен, грешен перед тобой и Богом Живым! – сигнатура Або металась между созвездий, разыскивая пепел поядовитей для головы спящего где-то Цифала.

– Окстись, Абушка. Аккуратнее начало отсчета выбирай, когда по каналу вселенской памяти несёшься, веди себя спокойно, ты игрок-исследователь в первую голову, а потом уже клон.

Або знал, что Петрович является членом секты Живого Бога, из новых пантеистов, почитавших всю Вселенную за того самого Бога единого, да к

тому же по счастью и Живого нынче. Многие уверовали в Бога накануне светопреставления, хочется им спасения души да вечной жизни. Фигу вам с маслом!

Как прирождённый космический хакер, Цифал знал: всё, что подвергается корректировке не может быть божественным. Ибо Бог – абсолют, ни в коем случае не познаваемый клоном.

Вселенная же корректировалась запросто, большого ума для этого не требовалось, исключительно концентрация силы воли. Нет, Космос – не Бог, хотя и живой организм, и миллионы звезд и галактик – нейроны вселенской психики, схожей с его, Або, психикой. Огромное животное бесконечных размеров, которое надо распознать, завоевать и научиться им управлять в собственных интересах! Его домашнее животное – вот что есть их Вселенная!

Пусть Петрович и учителем был, но излишне верующий, нет в нём настоящей боевой хватки, после смерти и вовсе раскис, когда одна сигнатура осталась без поддержки тела. А не воспользоваться ли нам гипотезой вирусного заражения умницы Амадея? Обнимем да расцелуем, вдруг сдохнет?

Эксперимента ради сигнатура Або кинулась на сближение и контакт с Петровичем, осыпая троекратными поцелуями с причмокиванием и лобызанием.

Сигнатура Петровича отбиваясь, перешла на шёпот: « Это особенное место, я его искал много лет, нашёл только перед уходом. Отсюда будешь продолжать мою работу».

Або сплюнул, досадуя.

Космос, великий Космос, оказывается, пишет в своей Книге о примитивных крестьянах, живших вне шоу-культуры, а вовсе не о лучших людях, не о великих умах – мудрецах, не полководцах или государственных деятелях, что полагалось бы в первую очередь содержать Книге Судеб. На что нам сдались таёжные мужики? Где о нас, о клонах?

Очередной плевок на самолюбие великой, гибнущей цивилизации!

Только-только сформировали национальную доктрину, выяснили к общей радости дебилов, что Космос – существо разумное, возможно и есть Бог Живой явившийся во всей красе безгрешным клоном, многие поверили, что Он, несмотря на грозящую опасность уничтожения в чёрном огне костров квинтэссенции, даст им избавление в последнюю минуту, раз есть Живой и Всеобъемлющий! Содержащий их в Себе, и знающий о них, своих детях!

Так на тебе, оказывается про клонов Божество и думать не хочет. Какое-то отсталое ветхозаветное существо получается, даже про самое наиважнейшее, про Мессию в нём понятия нет. Но возможно далее откроются двери в главное, со временем суть прояснится? Если конечно, хватит у них того времени.

– А о нас есть хоть что-нибудь? Читал? – потыркал Петровича, выведывая последние знания у гибнущей сигнатуры, которая не имеет права

лгать в столь ответственный момент, – не всё же про Пашку Мишина и сиротский сундук идёт плач Иеремии?

– Пока... ничего, только о людях. Поживёшь – узнаешь, – раздался столь знакомый клонам пшик.

Сигнатура Петровича с тихим шелестом исчезла, обронив в окружающее пространство полупрозрачные лепестки, напоминающие высушенные крылышки стрекоз, которые, крутясь вокруг своей оси, разлетались по округе, быстро исчезая из вида.

## 5.

**Фантастический полёт в окно. Явление безработного Сёмы, жаждущего знаний. Полупорция пельменей, булочка и кисель решают все вопросы.**

Книга вспорхнула с груди Макса.

– Что за ерунду читаем перед экзаменом? Нет, посмотрите на него, малый окончательно впал в детство: завтра итоговая встреча с профессором Щуром, а Крынка валяется на кровати – читает сказочки. Так дело не пойдёт!

Пришедший на обед из научной библиотеки Костя Суровцев держал двумя пальцами промасленные страницы, помахивая фолиантом без корочек перед носом рассерженного Макса.

– Не имеешь права, – предупредил Макс, сгибая ноги для решительного броска.

– Так ить это, не на юридическом факультете учимся.

Фёдор Иванович проснулся и тоже хлопал глазами на одетого в строгий костюм с галстуком Константина. Вытащил из-под подушки исчириканный листок с вопросами, прочёл по слогам: «Фи-гу-люс. Понятие фи-гу-лю-са».

– Слышь, Костян, объясни на пальцах, что такое фигулюс?

Книга в руке Суровцева раскачивалась по всё большей амплитуде, направление указывало на раскрытое окно.

– Ну, правда, Костян, какое-то совершенно дурацкое построение, я на нём уже мозги свихнул.

Книга взлетела немного раньше, чем Макс за ней рванулся. Трепеща страничками фыркнула за подоконник, пропав из вида.

Сломав голову Макс помчался на улицу. Под окном книги не обнаружилось, бесследно исчезла, как исчезают все плохо лежащие вещи в студгородке. Что показательно в данной ситуации, и народ поблизости отсутствовал, не к кому было даже пристать с требованием немедленно вернуть личное имущество технички Раисы.

В буфете тётя Катя как раз достала из огромного чана очередную порцию пельменей, запах пищи вызвал у Макса резкие колики в животе, он

энергично кинулся по ступеням наверх, страстно мечтая набить морду Косте Суровцеву, или хоть порвать в клочки его знаменитый галстук, но тот предусмотрительно смылся по чёрной лестнице, прихватив с собой в качестве защиты Фёдора Ивановича. Пришлось снова браться за книгу профессора Щура.

Что там ещё за фигулюс? Дурацкое название, искусственное, как гомункулюс.

С чувством раздавив очередного клопа на стенке, (клоп прыснул каплей свежей крови), Криницын возлёт на кровать, принялся листать учебник. Тут его снова отвлекли: в дверь постучался и сразу вошёл новый человек с почти знакомыми чертами лица.

«Кто таков?» – спросил себя Криницын, разглядывая в щёлочку между ресницами того человека. Глаза он прищурил, будто спит. Может, если вора поймать, деканат даст освобождение на завтра от экзамена?

Подозрительно глянув по сторонам, тот направился прямо к Максиму. Лет за сорок, на щеках рослая щетина, одет помято, глаза зелёные, с кошачьей желтизной, круглые, запах перегара, что за бомж?

– Эй, студент, вставай, проспичь царствие небесное.

По голосу нетрудно было догадаться, что перед ним стоит неизвестный, искавший Максимку в коридоре, а по виду признал знакомого грузчика с базы снабжения и сбыта, где иногда подрабатывал.

– Привет, Сёма.

– Помнишь ещё? Молодец.

Зевая во весь рот, Макс сел на кровати.

Егоров неуверенно опустил на шаткий стул. Он смотрел на студента просительно, даже заискивающе. «Денег пришёл занять, болван этакий», – сообразил Макс.

Скомкав полы своего коричневого в пятнах пиджака, Сёма помялся, давая понять, что просьба его будет необычной и начал:

– Послушай, Максимка, тут такое дело, я к тебе знаешь, что пришёл-то? – сказав так посмотрел за окно, куда недавно улетела трепетная фантастика, вздохнул. – У тебя каких-нибудь книжек нет почитать? В смысле научных?

– Ты же Сёма, вроде бы, техникум окончил?

– Точно, двадцать лет назад, приборостроительный.

– ... ну и на фига тебе далась, наука ... на базе?

– Да я там подрабатывал просто. Сейчас тоже халтуру иногда по мелочам, – Сёма сделал лицо человека, желающего в туалет по малой нужде, но очень, очень сильно. – Хочется, брат, почитать необыкновенно... такое дело.

– Обалдел, не иначе. Ладно, не жалко, на вот, измышления профессора нашего полистай, глаза бы мои на них не смотрели, завтра экзамен сдавать, а я ни в зуб ногой.

Криницын полагал, что Сёма забрёл в общежитие с похмелья, не зная куда себя деть, и само собой, балдеет насчёт научных книжек. Ему халтуру



левую разгрузить за пару поллитр, а после работы замазать, как следует, чтоб глаза штопором повылазили.

Он очень удивился, когда рыжий конопатый Сёма действительно открыл типологию и принялся с жадностью читать по складам что-то о пространственных изоморфизмах и переходных реперах. Впрочем, читал не слишком долго.

– Но я здесь ничего не понимаю!

В интонации чувствовалось возмущение.

– Я тоже, – спокойно ответил Макс, – мгновенно выхватив из кучи шелухи на столе целенькую жареную семечку, бросил в рот, целиком разжевал и проглотил. – Тебе ничего, а мне завтра надо эту муру объяснять профессору, который сам её выдумал.

– Здорово! Познакомь меня с профессором. Как его зовут?

– Щур. Давай лучше в шахматы сыграем на полторы порциипельменей. С маслом.

Сёма Егоров неплохо играл в шахматы. Среди грузчиков Упрснабсбыта лучше всех, Макс ему тоже однажды проиграл. Значит, Сёма играл в силу третьего разряда. Третьему разряду Макс уже проигрывал, но теперь ему было абсолютно всё равно, сосало не только под ложечкой, но и в каждом сантиметре кишок, в горле, во рту, даже в височных костях. Вдруг повезёт?

– Давай.

Они расставили фигуры и быстро разыграли ферзевой гамбит. Очень скоро положение Макса сделалось настолько безнадежным что, несмотря на муки голода, он сдался.

– Сильно играешь, – вздохнул протяжно, снова беря в руки учебник, – а денег у меня сейчас нет, за пельменями приходи в другой раз.

Егоров молча застыл у полки с учебниками. Он брал их с полки по очереди, открывал, пытался читать, но тут же закрывал и ставил на место. Лицо его выражала крайнюю степень скорби. Дольше всего задержался на философии: почитал в начале, почитал в конце, зевнул и поставил обратно. Залез в карман пиджака, выгреб оттуда смятые бумажки, поинтересовался сколько стоит полторы порциипельменей с маслом.

– Двадцать восемь рублей.

– Тогда дело в шляпе. Идём обедать.

Возражать Макс не решился и с готовностью вскочил.

Денег у Семы как раз хватило на пельмени, по сладкой булочке на брата и стакану киселя.

Демонстрируя сдержанность воспитанного человека Макс воткнул алюминиевую вилку в пельмень, повертел его в масле, напоминавшем худо растопленный маргарин и, с трудом задержав дыхание, спросил:

– Как дела на товарной станции, всё грузят?

– Наверно. Я там инвалидом подрабатывал раньше, – ответил Сёма равнодушно, – у меня в голове опухоль обнаружили, жгли лучами, потом инвалидность дали. Да разве на неё проживёшь? Подрабатывал, где только мог. А нынче пошёл на перекомиссию, просветили, говорят: всё, нет

опухоли, значит выздоровел и сняли инвалидность. Здравьете вам, говорю, как же так? Голова болит по-прежнему, даже хуже стало! И ерунда какая-то приключается время от времени: то ослепну на один глаз, то вовсе оглохну часа на два - на три. Пока в больницу соберёшься – проходит. Не верят, смеются: иди, говорят, работай. А какую работу найдёшь, когда прежнюю специальность давно потерял, а новую получить не могу – голова болит, спасу нет. Опять же с большими нагрузками физического плана запрещают те самые врачи, которые инвалидности не дают. Грузчиком нельзя, даже дворником снег не покидаешь. Надо в сторожа определяться.

– Ясно, – сочувственно произнёс Макс, – бывает и хуже, но реже, – после чего проглотил скользкий пельмень, не пытаясь даже для вида разжевать.

– Мне вдруг на днях учиться захотелось ни с того, ни с сего. По молодости не было особенного желания, а теперь вынь да положь, в мозгах аж зудит – так читать хочется. А потом вдруг занает пребольно, словно зуб мудрости в мозжечке растёт, так, что хоть ложись и помирай заживо.

– Читай фантастику. Или детективы. Кстати, у меня томик Чейза где-то завалился, хочешь?

– Нет, это не интересно. Вот физика, математика – другое дело. Зудит просто, – повторил он огорченно, понимая, что говорит глупости. – После техникума двадцать с лишним лет прошло, ничего не помню. Что-то происходит с головой, болит собака так, что кажется весь мир рушится вокруг. Врачам своим говорю – смеются, думают, на психу заворачиваю. Да на психу мне и самому не хочется, с ними только свяжись, в жёлтом доме разок полежи-отдохни, потом до самой пенсии никуда на работу не возьмут.

– В шахматы сильно играешь, – решил поднять настроение бывшего грузчика Макс.

– В шахматы я кого хочешь обставлю. Надо мне книги почитать научные, но попроще, чтобы в начале ясные были. Отыщи мне такие, а я на спор у любого в шахматы выиграю.

– Так уж и у любого, – усмехнулся Макс, – если думаешь, что читать учебники так же просто, как выигрывать у меня, то глубоко заблуждаешься.

– Учился же я в техникуме. Давай, если на спор выиграю у любого, на кого укажешь, то поможешь мне одолеть все науки?

– Все?

– Все. Разумеется, в пределах твоих возможностей.

Макс как раз доел булочку и допил кисель. Душа его переполнилась благодарностью.

– Хорошо, сдаём посуду и идём в бассейн «Труд».

– Плавать будешь?

– Нет, нынче в нём располагается шахматный клуб. Кстати, я забыл спросить, а зачем тебе понадобились естественные науки так срочно?

– Говорю же – хочется и всё тут. Самому удивительно.

**Разгром неизвестными мошенниками шахматной общественности города. Профессор Щур пускается в погоню за подозрительными личностями.**

Шахматный клуб представлял из себя длинную, узкую, пыльную комнату, в которой у одной стены располагались сдвинутые в ряд столы. За столами напротив друг друга сидели молчаливые трезвые мужчины разных возрастов глядя на доски с фигурами, и после каждого хода громко, с размахом стучали по кнопкам шахматных часов. Те, кто не играли, молча стояли рядом наблюдая. Комментировать партии во время игры запрещалось уставом клуба.

– Только не выпендривайся, – успел шепнуть Макс Егорову, когда тот восшествовал в комнату с чрезвычайно важным видом.

– Товарищи, внимание! – не реагируя на его шепот, громко и развязно обратился любитель точных наук к присутствующим. – Я тут по случаю, так сказать проездом и хотел бы сыграть партийку с вашим местным сильнейшим шахматистом. Могу на интерес, могу бесплатно. Моя фамилия Егоров. Со мной секундант, прошу любить и жаловать.

И вытолкнул Макса перед собой. Так некстати оказавшись на всеобщем обозрении шахматной общественности, Макс вдруг заметил в углу профессора Щура, отчего давно нестриженные волосы на глупой голове зашевелились сами собой.

Профессор был в обычном костюме с лоснящимися локтями, в котором он и лекции читал. Мизерные за толстыми стеклами черепаховых очков глаза глядели на Макса без всякого выражения.

«Кажется, не узнал, – отлегло от сердца в первый миг, но тут же Криницын понял, – завтра точно узнает!».

Присутствующие восприняли явление Егорова без должного энтузиазма. Некоторые наглые личности не соизволили оторвать глаз от своих облезлых деревянных фигур. Как сидели, так и остались сидеть, может чуть поморщились, тем более, что по соседству с бассейном «Труд», в котором ютился клуб любителей древней игры, располагался летний городской сад с колесом обозрения, качелями и многочисленными жёлтыми бочками пива вдоль главной аллеи.

И в том замечательном городском саду с посетителями частенько случалась обычная оказия, что у них на самом интересном месте заканчивались финансы, после чего некоторые, особо сообразительные, забегали к шахматистам в надежде сыграть партийку – другую на деньги, дабы восстановить свои покупательные способности.

Чувствуя, что объявление не произвело нужного фурора, бывший инвалид решительно повысил ставки:

– Я забыл сказать, между прочим, моё спортивное звание – гроссмейстер!

Тут уж все без исключения посмотрели на новоявленного гроссмейстера и ощутимо вздохнули. Вошедший был коренаст, имел мозолистые клешни, проблесков высшего интеллекта не читалось в требовательных рыжих глазах. Более всего он как раз соответствовал портрету среднестатистического посетителя горсада, который приняв некоторую дозу, вошёл в раж, но дефицит наличности сильно мешал дальнейшему весёлому времяпровождению.

Вахтера клуб не имел, посему худосочным шахматистам приходилось самим держать оборону.

– Проходите сюда, гроссмейстер, – раздался скрипучий голос Щура. – Я кандидат в мастера. Может быть, Левинсон подойдёт сегодня, но пока его нет. Левинсон – чемпион области. Лучшего, уважаемый гроссмейстер, на сегодняшней день, мы вам предложить вряд ли сможем. Предупреждаю сразу: на деньги у нас в клубе играть запрещено. Если хотите просто так, милости прошу за мой столик.

– У меня просто руки чешутся, – сказал Егоров. – Я нынче в такой форме, что самому Каспарову в два счёта надрал бы уши.

– Не люблю сослагательных наклонений, – буркнул Щур, которому достались белые фигуры.

Егоров наконец утомился, расселся поудобнее, и быстро задвигал пешки, почти не глядя на доску, зато свойски подмигивая Криницыну, который стараясь не афишироваться, скромно держался в сторонке, поворачиваясь к Щуру исключительно профилем с затылочной стороны. Щур также быстро отвечал поначалу, затем вдруг надолго задумался и на тридцатом ходу сдал безнадёжную позицию.

Это вызвало у присутствующих лёгкий шок.

– Видал, как я кандидата разделал? – громко спросил Егоров, обращаясь к Макс, – как бог черепахе. А ты не верил. Иди теперь, смотри.

– Ладно, верю. Пойдём отсюда, – пробормотал Макс, жалобно оглядываясь на спасительную дверь.

– Нет, вижу, что не веришь, Фома ты неверующий. Ладно, раз такое дело...

Тем временем любители древнейшей игры повскакали из-за столиков, все как один столпились вокруг ошеломлённого быстрым проигрышем профессора, разбирая партию, громко заспорили друг с другом. Ни Егоров, ни Макс не понимали из-за чего разгорелся такой сыр-бор, надсадно морщили лбы и помалкивали, причём Макс нацелился сматываться независимо от желания бывшего грузчика, и даже успел сделать три незаметных шажка в сторону заветной двери.

Тут его придержал за руку лохматый очкарик:

– Он действительно гроссмейстер? Может быть, международный мастер, а?

На что Криницын лишь снисходительно улыбнулся. Очкарик отошёл на цыпочках.

Как-то весьма скоро прибежал чемпион области Левинсон, у которого оказались большие, розовые, смешные для чемпиона уши, а лицо походило на добрый сибирский пельмень. Он приветливо улыбался.

– Здравствуйте. Левинсон. Буду рад сыграть с вами, гроссмейстер.

– Нет, – отказался Егоров, – не пойдёт такая канитель.

– Как нет? – с гомотопической простотой пельмень преобразовался в недоуменный вареник. – Позвольте... э меня же специально для этого вызвали с кафедры по телефону. Или ваши планы...э... изменились?

– Точно. Изменились. Играю один против всех, не глядя на доски.

– Да у нас тут всего досок двадцать и наберётся, – ехидно заметил лохматый очкарик.

– Чего с вас взять, команды голоштанной. Двадцать, так двадцать, сеанс бесплатный, – нагло вато усмехаясь, отбрил Семёна шахматную интеллигенцию.

– Не знаю, не знаю, – пробормотал Левинсон, – что-то мне не верится, Здесь всё-таки вам не Васюки. У меня большое сомнение, и фамилия ваша в рейтинговых списках не значится... Очень большое сомнение. Пожалуй, на подобных условиях я играть не буду. Я воздержусь.

Шахматный мир города возрил на профессора Щура, который расставил фигуры и вежливо поинтересовался:

– Ваш ход, гроссмейстер?

– E2-E4, – гаркнул Егоров.

Прочие тут же бросились занимать столы, чуть не сшибив с ног Левинсона, спешно расставляя на досках фигуры.

Чемпион области нервно ходил кругами по комнате, ускоряя движение. Потом вдруг набросился коршуном на случайного мальчишку, возмечтавшего сразиться с приезжим гроссмейстером, зашипел гусаком, выкинул за вихор и уселся играть на его место под номером семнадцатым.

– Лекцию читать не будете о развитии шахматной идеи? – полюбопытствовал всё тот же дотошный лохматый очкарик.

Егоров стоял лицом к окну, скрестив руки на груди, в любимой позе знаменитого корсиканца перед очередной битвой за передел мира, спиной к аудитории, страстно жаждущей его крови.

– Какая доска?

– Седьмая, гроссмейстер.

– Седьмая доска получит мат на... тридцать седьмом ходу, – объявил Семён Егоров, не повернув головы.

Макс увидел, как лохматый и Левинсон быстро поменялись местами. Но ничего не сказал, ему стало интересно.

Через два часа шахматные сливки города были смешаны с бытовыми отходами. Мастер спорта Левинсон получил мат на тридцать седьмом ходу, как и было обещано его доске. Он хотел увильнуть, сдаться на тридцать пятом, однако любопытная шахматная общественность принудила доиграть до конца из чисто теоретического любопытства. Кому из идолопоклонников

не хочется иной раз под горячую руку макнуть мордой в грязь верховного божка?

Никто даже не пытался оправдывался, ссылаясь на зевки. Потный Семён по-прежнему стоял у окна, сцепив руки на груди мёртвой хваткой:

– Устал, будто вагон мебели разгрузил в одиночку, – сказал он Макс.

– Ну, как?

– Феномен, – Макс стряхнул невидимую пылинку с пиджака Егорова. – Эх, надо было платный сеанс устроить, столько денег потеряли, страшно подумать...

В это время в клуб вошел знакомый Макса по общаге вечный студент Феофанов, косящий от армейской казармы.

– О, привет Крынка, – сказал он, – что, тоже решил в шахматишки срезаться?

Чисто по-английски, не прощаясь, Макс направился к выходу, Егоров за ним.

– Что-то тут не чисто! – опять заподозрил Левинсон, глядя им в след по куриному.

– Гипноз! – воскликнул профессор Щур, – я понял, над нами экспериментируют. Держи их!

– Какой гипноз, Александр Трифоныч, вот записи всех партий.

Однако гроссмейстер с подручным ускорили шаг. Выскочив на улицу, они позорно бежали.

Профессор храбро бросился в погоню, чувствуя приближающийся приступ астмы, он тяжело, с хрипом дышал, но неотступно держался следом.

На город спускался прохладный вечер. Верхи тополевых крон на улице вольного лондонца Герцена зашумели на ветру, навевая тревожную мысль о том, как много западного присутствует в азиатской Сибири.

Сбивая со следа профессора, Макс кинулся не в сторону общежития, а сразу взял налево, и, проскакав шумным галопом метров семьдесят, не оборачиваясь, свернул на уходящую вверх к горизонту улицу имени Виссариона Белинского, где никогда не ступала нога сурового критика с грозным именем. Гроссмейстер неотступно топал сзади.

## 7.

**Научное открытие доцента Пятакова. Кержачка Полыхалова жалеет профессора, от которого бежали гроссмейстер с секундантом. Раскрытие предательской сущности вахтера Беленького. Семён Егоров прочёл научную книжку за двадцать минут, а Макс в благодарность угадал его нелёгкое будущее.**

Зажглись неоновые фонари на остановке напротив университета. Доцент кафедры теории вероятностей Пятаков внимательно разглядывал асфальт под ногами.

Как человек сугубо практический, он сразу определил место, где гуще всего набросано окурков да проездных талонов и прочно на него встал. По тайному открытию Пятакова, которое доцент держал в секрете от широкой публики, именно перед данным пяточком асфальтного пространства по закону нормального распределения, как раз и открывались троллейбусные двери.

Прочие граждане бежали сначала навстречу троллейбусу, стоило тому порезче тормознуть при подъезде к остановке, потом, сбивая друг друга, кидались в противоположную сторону, а Пятаков твёрдо и непоколебимо стоял на особом месте, проявляя недюжинное математическое ожидание, презрительно наблюдая метания толпы, пока входные двери не распахивались прямо перед ним.

Рядом разговаривала сама с собой старуха на вид лет семидесяти в кирзовых сапогах, с хозяйственной сумкой крепко прижатой локтем к боку.

Выходица из кержацкой таёжной семьи, она до сих пор сохраняла тонкий охотничий слух, и несмотря на тёплый платок, повязанный на голове после бани, первой услышала шум на перекрестке, где проспект большевика Кирова сливался с проспектом большевика Ленина, и где Мирон Киров с мясистыми белёными щеками, в белёных же сапогах по хозяйски запускал руку в окружающее пространство.

И вот в этом самом романтическом месте, у сапог революционера, по воспоминаниям современников очень любившего комфорт, американскую бытовую технику и дамский пол у себя в квартире, в особенности жён белых офицеров, за что впоследствии и пострадал, так вот, у этих самых сапог, где студентки университета назначают свидания студентам Политехнического, а потом и ниже, где троллейбус спускается с одного проспекта на другой, метр за метром, будто пёс слезает с высокой лестницы на площадке для дрессировки, наметился кое-какой шум и даже некоторое движение.

Полыхалова бесстрашно ступила на проезжую часть, приставила руку козырьком, разбирая, что там происходит.

Пятаков устоял на месте, но тоже вытянул шею, пытаясь разглядеть, не его ли транспорт подходит? Однако вместо троллейбуса с горы скатились несколько бегущих человек. Впереди драпали что помоложе, за ними следом сипло дышал широко известный в городе профессор Щур. Увидав университетского мэтра в столь бесшабашном состоянии, Пятков открыл рот и снял шляпу.

Троица промчалась мимо. Но за Дворцом Профсоюзов, возле роддома, молодость с одной стороны и астма с другой, взяли своё. Щур привалился спиной к больничной стене и тяжёло, ужасно тяжёло дышал, провожая меркнувшим взором убежавших подозрительных личностей.

Проходившая мимо пенсионерка в изящной фиолетовой шляпке сочла нужным съязвить: «В таком возрасте и ребёнка завёл! Посмотрите на него:

счастливым отцом называется. Женятся на молоденьких, а потом дохнут возле роддомов. А ребенок ведь не твой. Нет, не твой, дедуля! Ага, давай, дыши, дыши теперь громче, никто тебя не боится!».

Год тому назад от шляпки на шестом десятке лет (нет, вы представляете?) к молодой сопернице ушёл муж-доцент. Тяжесть утраты каждый раз с новой силой растревляла старую рану, вызывая чувство ярости при виде старых песочниц, живущих со студентками. До самого Главпочтамта она неслась на всех парусах, с громкостью городского глашатая рассуждая вслух на болезненную тему и не замечая ничего вокруг.

Сердце хлестко щёлкало по кадыку, бронхи сипели на все лады дырявой гармошкой. Имея бессильную дрожь в коленях, профессор из последних сил подпирал стену, не в состоянии уяснить простой, но удивительнейшей ныне вещи: «Как это я в СМЕРШе при полной выкладке на двадцать пять километров по лесу марш-броски делал?».

А старуха Полыхалова, покачивая головой, сказала, обращаясь к Пятакову:

– Обворовали сердешного, да разве их теперь догонишь? Ещё и побить могут, старика им легче лёгкого обидеть.

– Какой это старик? Это же сам профессор Щур! – боясь сойти с вычисленного счастливого места, произнёс изумлённый доцент, но подошедший троллейбус заглотил и его и Полыхалову, а Щур осторожно, как канатоходец под небесами, двинулся домой неверной походкой отжившего своё человека.

Дав круг по центру города, беглецы вернулись к общежитию.

– Здорово я им устроил, – радовался Егоров, – у этого главного Левинсона, слышь, глаза в переносье сошлись, когда понял, что погорел. Гроссмейстер – это тебе не фунт изюма, марку надо держать!

– Подвёл ты меня под монастырь. За нами мой завтрашний экзаменатор гонялся. Не знаю, кто тебя, Сёма, надрессировал в шахматы резаться, но теперь, будь уверен, Щур меня запомнил и уж на экзамене так начнёт гонять, что мало не покажется, можно даже не учить больше, всё одно завалю.

Высказав сомнения в целесообразности дальнейшей подготовки к экзамену вслух, Макс почувствовал известное облегчение.

За столом вахтёра общежития сидел дружинник с выдающейся челюстью и микроскопическими пьяненькими глазками.

Вид охранник имел бдительный и вальяжный одновременно. Он долго разглядывал портрет Макса на пропуске, а там была вклеена не его фотография, а однокашника. Просто когда староста собирала снимки для пропусков, у Макса как всегда не оказалось денег, и он, не мудрствуя лукаво, сдал чужую фотку, выпросив лишнюю у приятеля. Никто никогда на эту фотографию не обращал внимания, достаточно было показать корочки, вплоть до сегодняшнего неудачного дня.

Егоров самодовольно поглядывал вокруг, продолжая гордиться своей удивительной и триумфальной шахматной победой.



– Это мой любимый дядя, – пояснил Макс, – он у нас проездом, только с поезда и снова на поезд.

– На самолёт, – со значительностью в голосе уточнил Егоров, засунув руки в карманы, без ложной скромности, свысока осматривая крашенные зелёной краской стены холла.

– Точно: на самолет, – поправился Макс необыкновенно легко, – дядя гроссмейстер, проводил в городе сеанс одновременной игры на двадцати досках. И представляете, на всех выиграл!

– Посмотрим-посмотрим, что за дядя, – старшекурсник выпустил далеко вперёд свою челюсть и залюбовался ею, – значит дядя говорите...

– Любимый, – напомнил Макс.

– Стоп! Да вовсе не похож! Может кто другой? – вахтёр-дружинник почему-то сравнивал фотографию на пропуске с лицом Егорова. – Не верю! Пусть дядя тоже предъявит документ!

При этом теряя всяческие понятия о приличиях ещё далее выдвинул умопомрачительную челюсть, отчего та достигла размеров приставного стула в кинотеатре имени Максима Горького, на котором можно легко высидеть полуторачасовой сеанс со Снежанкой на коленях.

Тут Егоров непривычно хитро для себя сощурившись строго указал на длинный розовый нос охранника, слегка облезший на самом кончике:

– Гражданин Беленький?

– Беленький, – насторожился дружинник, убавив на полсантиметра челюсть.

– Гражданин Беленький извещаю официально: на ваше заявление о приёме в органы безопасности дан полный и категорический отказ. Психологический тест выявил склонность к подлейшему предательству, отягощённому карьеризмом вкупе с тягой к сладкой жизни. Более того, оказывается, вы уже изначально за границей сдать нацелились, сделаться двойным агентом, сдавая за доллары наших честных смелых, любящих родину разведчиков. Сами понимаете, очередной генерал Калугин органам покуда не требуется, ещё с прежним толком не расхлебались. Придётся трудиться на ниве народного хозяйства. Ситуация ясна или требуются дополнительные разъяснения?

Егоров забрал из похолодевших рук вахтера-любителя пропуск, проследовав мимо походкой свободного человека, живущего в демократической стране, а не какой-нибудь там заштатной Америке, оставив дружинника в глубочайшем недоумении трогать отвалившуюся вниз челюсть, размерами которой действительно нетрудно будет удивить какого-нибудь археолога лет этак через триста.

Они взбежали на этаж не так скоро, как прежде, спасаясь от профессора, но всё одно запыхались, хотя юрист и не думал бросаться в погоню, напротив, лихорадочно размышлял куда бы ему скрыться, в какое подполье уйти: к бабушке дёрнуть на место жительства, наплевав на защиту диплома, или в контрактники пойти записаться. Нет, лучше к бабушке

линять в Белоруссию, от их деревеньки рукой подать до польской границы. Старшекурсник тут же покинул пост, отправившись к себе в комнату вещи.

– Откуда знаешь про Беленького?

– Что, разве не угадал?

Макс вспомнил профессора Щура, предстоящий экзамен и тяжело вздохнул: что будет завтра с ним, Максимом Криницыным, какие удары судьбы падут на голову? Под ложечкой снова противно засосало.

– Давай сюда свои семечки.

– А ты мне дай книгу почитать.

– Всё равно ничего не поймёшь.

– А вдруг?

Высыпав на стол семечки из карманов, новоявленный психолог принялся изучать книжку профессора Щура с просветлённо-восторженным лицом, чуть не пыхтя от удовольствия. В какие-нибудь двадцать минут благополучно пролистав от корки до корки, даже год выпуска изучил и количество печатных листов.

– Слушай, может, за меня и экзамен завтра сдашь? Понял что-нибудь?

– Не-а, – утирая пот со лба произнёс Егоров. – Сплошная абракадабра, но дюже приятно написано, увлекательно, не оторваться, вот будто «Щит и меч» про Йоганна Вайса перечитал по новой.

– Иди ты. Давай сюда, учить буду.

– Зараза этот Беленький. Вот такие и сдают наших разведчиков Иоганов Вайсов - Беловых. По морде ему надо бы заехать согласно психологического теста. Ладно, ни пуха тебе завтра, ни пера.

– К чёрту, – привычно кинул вслед уходящему Макс, ни о чём не подозревая, но вместе с тем коротко и ёмко предвещая жуткое сёмино будущее.

## 8.

**Профессор Щур оживает у себя дома, рассказывает про поддельного гроссмейстера, ужинает и выигрывает в шахматы у ассистента Лавочкина, в то время как дочь Ираида смущается размером адамова яблока ассистента, а жена считает, что ничего, для внука сия деталь будет наследственно не смертельна.**

Профессор Щур поднимался к себе на третий этаж ровно десять минут. Пролёты бетонной лестницы стонали и резонировали под грузом светила. Жиденькие перила содрогались, когда он отталкивался от них мощной рукой, делая очередной шаг и вновь вцепляясь, втаскивая отяжелевшее тело на ступеньку выше. Астма распёрла грудь колючками ежа, не давая выдохнуть воздух и вдохнуть снова.

«Зачем бегал по городу? От того, что тебя легко обыграли в шахматы? Глупо».

На площадке пшикнул в рот лекарством.

В дверях его подхватили руки жены и дочери, отнесли на тахту, разули, сняли пиджак, галстук, напичкали лекарством уже основательно. Через пять минут Щур очухался и задышал.

В гостях находился ассистент Лавочкин. Маленького ростика чернявый человек лет тридцати с искривлённой по-птичьей шеей, как всегда в чёрном костюме, с большим горбатым носом, слегка похожий в профиль на тщедушного бесхвостого воронёнка. Он тоже суетился, таскал домашние тапочки, а потом сел рядом с тахтой на стул и затих в мрачном достоинстве божественной птицы Ибис, на стене похоронной комнаты в гробнице, закинув голову назад, дабы клюв не перевешивал.

– Вашу работу я просмотрел, – натужно выговорил Щур.

– Да? – бесконечно удивилась птица Ибис, – но ... Александр Трифонович, – скосила взгляд на стоящих рядом наготове женщин, – вам сейчас лучше не разговаривать, поберегитесь немного.

– Работа, крепкая... буду рекомендовать в Сибирский журнал, если не получится... здесь напечатать, в университете. Ничего дерзновенного конечно нет, а у кого сейчас дерзновенное? – глянул на ассистента, который спокойно, с достоинством сидел, задрав нос, и по вороньи глядел на профессора круглым чёрным глазом, – разве что у меня?

Лавочкин никак не среагировал на шутку.

«Если умру, – подумал Щуров рассеянно, – точно так же будет сидеть и смотреть, один к одному».

– Маша, закрой форточку, сиренью дурно пахнет. Насадил во дворе сирени озеленители чёртовы, а у меня от неё приступы. Скоро пух с тополей полетит, – Щур помрачнел, вспомнив двух проходимцев из шахматного клуба. – А ну, Михаил Наумович, тащи-ка сюда шахматишки, разыграем партийку, со мной конфуз сегодня приключился, давай поглядим, не было ли подвоха?

И Щур рассказал клубную историю, разыграв партию.

– Как твое мнение? – спросил он в конце.

– Это невозможно, – констатировал Лавочкин, – обыграть в слепом сеансе вас и Левинсона и ещё полтора десятка перворазрядных шахматистов, не мог человек с улицы. Международный мастер или гроссмейстер, да и то: Левинсона по заказу к тридцать седьмому ходу... И смотрите как сильно, это не гипноз, белые просто раздавили чёрных, не оставив им ни единого шанса.

– Да, разгромил с нечеловеческой силой. Но проходимец, ей богу, проходимец, я их брата за версту чую. Будто по шпаргалке играл, негодник. А особенно второй подозреваетел, секундант, до чего физиономия знакомая, так и чудится, будто студент из моего потока, вот кажется и всё тут. Определенно знакомая личность, Михаил Наумович. Бежали, как зайцы! С чего им бегать? С какой стати?

– Бог его знает, папа, – сказала дочь Щура – Ираида, возможно кошелёк у кого стянули во время сеанса, – идёмте, Михаил Наумович к столу, будем ужинать.

– Это идея. Дочь, подай-ка пиджак. Кошелёк на месте?

Кошелёк оказался на месте, в полной неприкосновенности.

– Жаль, – разочаровался профессор, – спёрли бы деньги и легче на душе стало, несмотря на разгром нашего шахматного клуба превосходящими силами противника, а так и непонятный и неприятный случай: пришли, понимаешь, невесть кто, невесть откуда, обыграли словно мальчишек, устроили показательную порку шахматной общественности и бежали, даже не украв ничего. Не люблю непонятных историй. Во всём должен присутствовать смысл. А пойдёмте, Михаил Наумович к столу, соловья баснями не кормят.

– Да я сыт, – поджал ноги Лавочкин, – благодарю, дома кушал. И мне пора уже, завтра экзамен принимать у второго курса, надо отдохнуть, выспаться.

Он вскочил с места, опрометью бросился на выход, однако ошибся дверью, влетел в столовую, где Марья Фоминишна разливала по тарелкам суп. Она указала ему на стул, куда он должен садиться. Лавочкин пожал острыми плечами и сел.

– За что люблю Михаила Наумыча, его никогда не приходится упрашивать, скажешь: кушать, он тут же без лишних слов бежит и садится, – провозгласил довольный профессор, – а в продолжение нашего разговора хочу поведать ещё одну вещь, на которую обратил внимание во время сеанса. Уличного гроссмейстера - прощелыгу не слишком интересовало наше мнение о нём. Да-с. Задирал он нас немножко, было дело, а спектакль целиком и полностью устраивался ради единственного зрителя, его собственного ассистента, который во время представления странным образом прятался по углам. Лица даже не припомню. Когда я сдался, этот Бендер глянул на своего приятеля с выражением: видишь, и старикашке капут, а ты не верил! Будто что доказывал.

– Может быть, хотел показать, что умеет играть в шахматы? – спросила Ираида.

Лавочкин поперхнулся.

– Я хотела сказать, он доказывал, что очень хорошо умеет играть в шахматы. Настолько хорошо, что может обыграть любого в нашем городе.

– А раньше этого не мог сделать?

– Вот именно, раньше не мог.

– М-да. Руки у него рабочие, грубоваты и не вполне чистые.

– К чему такие подробности, Александр Трифонович? – мило улыбнулась Марья Фоминишна.

– Важные подробности, – отрезал Щур, – перед нами человек физического труда и несомненный феномен, но не это странно, в конце концов, существуют тысячи людей, играющих лучше меня и Левинсона... не это обидно...

– А тебе, папочка, обидно?

– Да, мне обидно, и я вам скажу от чего. Ни в грош он не ставил саму игру, процесс шахматного мышления. Собственно говоря, последнего вообще не было, не читалось в глазах. Просто данный человек что-то кому-то хотел доказать и всё, сама игра ему глубоко чужда. Это почувствовалось настолько сильно, что мне стало обидно. А второй точно студент, в глаза смотреть боялся, любопытно, Михаил Наумович, не правда ли?

Лавочкин скосил глаз куда-то между Щуром и углом стола, кивнул. Кадык его торчал прямо под носом, казалось, из-за этого кадыка ему и кивать трудно. Ираида всегда удивлялась, как это у такого маленького человечка может вырасти столь огромный кадык, от коего она с трудом оторвала взгляд, боясь показаться невежливой.

Марья Фоминишна тоже мельком рассмотрела кадык в мельчайших подробностях, подумав при этом, что если выйдет Ирочка за Михаила Наумыча да родится у них мальчик, то это ещё ничего, если у внука тоже вырастет со временем на горле нечто подобное. Живёт же Лавочкин и не жалуется никому, хотя конечно, нелегко с таким подарком природы существовать. А вот если девочка народится да ни приведи господь, у неё такая штука окажется... впрочем, у женщин кадыков вовсе не бывает, какая радость! Пусть себе женятся!

– Не сыграть ли нам, Михаил Наумович, партийку-другую?

– Благодарю, – отказался Лавочкин, – мне действительно пора.

Сказал грустно, под настроение. Недавно пролечил нервный тик на левом глазу, а чувствовал, что завтра на экзамене опять что-нибудь разволнуется, и застарелая неприятность на лицо выпрыгнет! Почему не отпустили отпуск? Почему? Александр Трифонович преподобный не отпустил, как будто нет никого другого экзамены принимать.

Они сели за шахматный столик, убрав с него кипы одинаковых сереньких книг, авторских экземпляров профессора, одна из которых валялась на кровати Макса, сыграли здесь же и одну партийку, и другую, и третью, до тех пор, пока Наумыч не заклевал своим кадыком и не проморгал мат в три хода, после чего Щур в нём совершенно разочаровался, отпустив с миром.

## 9.

**Явление покойного доктора Клементовского в обеденный перерыв на базе Снабжения и Сбыта. Бродячий пёс Кабысдох доктора учуял, а Контрразведка в упор не разглядела.**

В жару Кабысдох любил поваляться в теньке под бетонным забором Базы Управления Снабжения и Сбыта: от прохожих это место отделяла

сточная канава с топкими краями, прыгать через которую ради мелкого удовольствия пнуть задремавшего пса, находилось не много желающих.

Нельзя, однако же сказать, чтобы их не существовало вовсе.

И тем не менее, находясь здесь, он мог позволить себе смежить на солнышке глаза, откинуть как следует задние лапы, и вытянув передние расслабиться у всей улицы на виду. В душе Кабысдох был наглым псом, но многочисленные пинки в раннем детстве, вкупе с природной хилостью сделали его осторожность притчей во языцях.

Главное – ухо держать остро! И то, что он бегаёт пока в собственной шкуре, а не украшает голову какого-нибудь грузчика Базы в качестве зимней шапки, целиком его личная собачья заслуга. Поэтому стоило ближним кустам тальника слегка шевельнуться, Кабысдох тут же молча поджал хвост и кинулся куда подальше, влетев прямым ходом под ноги бабе Нюре, нёсшей мимо по дороге на коромысле полнёхонькие вёдра с колонки домой.

– Что б ты сдох, проклятый! – пожелала баба Нюра тусу, метко отбиваясь от ошалевшей псины ногой, обутой в резиновую калошу сорок четвёртого размера.

Само собою разумеется, при столь грустном развороте событий, Кабысдоху никак не отделаться парой легких пиночков, окончательно парализовавших его мужское достоинство, ежели на плечах Нюра не несла бы коромысла с двумя полными ведрами – это раз. А главное, если бы Нюра, имевшая в гуще народной прозвище Контрразведка, изначально не заинтересовалась странным поведением кустов, перепугавших Кабысдоха.

Ведь ни одна веточка там не шелохнулась. Тем не менее, Кабысдох нёсся сломя голову, не оглядываясь, и добежав до угла, нырнул в подворотню сгоревшего дома, даже не побрехав с безопасного расстояния для восстановления подмоченного в болотной жиже реноме.

Всё говорило о большой опасности, затаившейся в тальнике, и баба Нюра никак не могла пройти мимо.

Контрразведка оставила вёдра при дороге, после чего налегке, с коромыслом наперевес, двинулась к кустам.

Зрение так же не подводило пока Нюру. Она разглядела, что в кустах никого нет, и, следовательно, никаких новостей для вечернего бабьего синклита не набирается.

– Прохвост, – ругнулась Контрразведка, – чтобы тебе под самосвал так влететь, как в мое больное колено, вражина.

Ещё раз осмотрев окрестности твёрдым взглядом маленьких глаз, глубоко сидящих под седыми бровями, и стянув покрепче узел платка под крепким командирским подбородком, баба Нюра легко взметнула коромысло с ведрами на правое плечо, и неторопливой утицей поплыла далее, не плеща ни капли из наполненных по края дюженых вёдер.

Меж тем в оправдание Кабысдоха можно было сказать, что не он один учуял неладное в кустах.

Другим свидетелем и очевидцем выступал Сёма Егоров, прибежавший с утра пораньше к знакомым грузчикам Упрснаба, обещавшим халтуру по загрузке камаза - длинномера.

Когда Сёма прибыл на базу, длинномер уже грузили. Он с ходу подключился, мечтая заработать сколько-нибудь денег, не подозревая даже, что экспедитор камаза обещал расплатиться четырьмя бутылками водки, а вовсе не деньгами.

Перед обедом грузчики аккуратно приняли по стакану честно заработанной беленькой, после чего твёрдой походкой отправились в столовую, а Сёма, не имевший с собой ни копейки денег, остался сидеть на втором этаже будки, нависшей сверху над забором. По ночам здесь дежурила охрана, днём, в свободное время стучали в домино грузчики.

Он расположился в кресле у окна, намереваясь немного поспать: от водки страшно разболелась голова, что случалось не первый раз. Егоров неоднократно зарекался не пить, но тогда бы сегодня вышло вовсе скверно, что пахал за так. Выпил и в результате снова закосило в мозгах, отёк левый глаз, заложили ухо. Час от часу не легче. Сёма решил отсидеться в будке, немного покемарить.

Полуденная июньская жара прочно обосновалась на прилегающей к базе Упрснаба болотистой местности. Пыль толстым слоем лежала на обочинах дороги, скрывая грязь.

Редкий прохожий появлялся здесь во время обеденного перерыва, одна лишь баба Нюра играючи несла свои вёдра, да в сточной канаве ярко зеленела молодая трава-мурава, когда некий гражданин в длиннополом кабардиновом пальто, чёрной фетровой шляпе, пенсне, хромовых сапогах с калошами вдруг вылетел из кустов, растущих у забора прямо на глаза Егорова, будто его выпнула оттуда неведомая сила без всякого снисхождения к почтенному возрасту.

И как старик только не споткнулся и не упал в канаву, а успел перескочить через неё перед коромыслом Контрразведки, остаётся только гадать.

«Клиент, – мгновенно вычислил Семён, застонав от прилива глазной боли, – в перерыв прибыл, чудо в перьях, тут его, значит, и припёрло, полез место подыскивать в кусты, а Контрразведка спугнула. Сейчас она такой хай поднимет, что гражданину жарко станет в его кабардиновом пальто и шляпе, во фрукт пожаловал!».

Но почему-то Нюра игнорировала явление народу беспутного клиента, вероятно снизойдя к почтенному возрасту, хотя обычным делом считалось разнесение в пух и прах родословной воспитуемого до одиннадцатого колена включительно.

Пошла себе дальше, как ни в чем не бывало, будто и не стоял рядом престарелый гражданин в старомодном пенсне, доисторических галошах на хромовых сапогах. Ух, и сдерёт с него бригадир Гоша по полной программе за один только вид! Если бы не боль в висках и глазу Семён решил ещё на одну халтуру, ужас как не хочется возвращаться домой с пустыми руками.

Странный, однако, клиент. Для снабженца староват. Снабженцу летать надо ласточкой, а этот еле галошами по грязи чмокает. Значит, не клиент. Жаль. Случайный прохожий? Почему в таком случае никуда не торопится, стоит и смотрит прямо в зрачки Егорову?

Бритые синеватые щеки растянуты в улыбку, даже шляпу приподнял и слегка поклонился, хотя разглядеть что-либо внутри комнаты с улицы через грязное стекло окна невозможно, это Егорову доподлинно известно. Однако приветливый старик продолжал махать белой узкой ладонью, без линий судьбы, приглашая Егорова выйти и поговорить, улыбался, старая заноза, ележно, к тому же подмигивал.

Сёма ни за что бы не вышел, но слишком знакомым казался старикан. Уж черезчур.

Вон опять закивал: да, да, мол, знакомый, знакомый, не чинись, выходи. Снял шляпу, опустил руки по швам, закрыл веки, и Сёма тотчас вспомнил его.

Очки-пенсне те же, что и в прошлый раз.

Старухи наперебой утверждали, что в очках православных христиан в гроб не кладут, не по обряду будет, но без очков доктор Зиновий Клементовский оказался столь разительно на себя не похож, что вдова покойного, прислушавшись к общественному мнению врачебного коллектива, позволила нацепить усопшему на переносье стеклышки в золочёной оправе.

Лежавшие до того на глазах пятаки были убраны и в очках Клементовский как бы слегка приожил, собственно уже ничем внешне не отличаясь от прежнего живого участкового врача: сухопарого, высокого, интеллигентного терапевта, с бледным без кровинки лицом, который до семидесяти двух лет ежедневно ходил по вызовам на дом к больным в одной половине дня, в другой же принимал в поликлинике номер три по улице Дружбы Народов в своем кабинете очередников согласно талонам, заодно служа образцом вежливости и порядочности, человечности одним словом, среди обширного болота хамства, пьянства и хулиганства, коими жутко славятся пролетарские окраины города.

Старожилы вспоминали, что до войны участковый ездил по вызовам на бричке, но в войну забрали молодого жеребца на фронт, а пожилому участковому пришлось ходить пешком, и он проходил таким манером ещё пятнадцать лет после победы, пока не умер.

Мать зачем-то взяла с собой Сёмку на прощание народа с терапевтом, и ей, помнится, тоже не нравилось, что очки покойнику надели.

– Ещё бы глаза ему открыли, – высказалась соседняя богомолка негромко, однако же вполне отчётливо, чтобы стоящие рядом соседи смогли её расслышать.

Старик, вызывавший сейчас на улицу Егорова был вне всякого сомнения врачом Зиновием Клементовским, которого схоронили в золочёном пенсне много лет назад. Для пущего сходства в руках он держал



докторский старинный чёрный баульчик, с которым прежде ходил к больным на приём.

И пенсне было и глаза открылись, глядели на Сему весело, несколько даже лукаво.

Нет, всё-таки правы были старухи: хоронить даже хорошего человека следует по уставу. Вот будь он сейчас без пенсне, небось не стал бы резво скакать через топкие канавы, и уж конечно не разглядел бы Егорова за грязным стеклом комнаты отдыха, не смог бы вызвать на разговор.

Семе сделалось любопытно переговорить с двойником.

Он спустился на улицу, кивнул доктору более дружелюбно, чем полагалось обходиться с рядовой левой клиентурой, – народом жаждущим расположения грузчика. Проявлять вежливость означало заведомо сбивать цену. Этого здесь не прощали.

– Вы, случаем, не доктор Клементовский будете? – спросил Егоров без обиняков, глядя бывшему покойнику за стекла, в не по-нашенски умные глаза.

– Собственно... некоторым образом, то есть я хотел сказать: да, конечно, буду. Без малейшего сомнения.

Глаза Сёме ломило так, будто вот-вот выпрыгнут наружу.

– А ты их закрой, закрой, братец, авось полегчает.

Сёма закрыл, но ничего не изменилось: Клементовский продолжал стоять на месте, солнце светило сверху и болотная ряска зеленела в канаве ярким малахитом. Одинаково стал видеть и с закрытыми и с открытыми веками.

– А дураки считали его за Бога Живаго, глупцы! На деле ничего особенного, самый обычный человечико, – произнёс Клементовский саркастическим тоном, без сомнения, имея при этом в виду Сёму Егорова.

Сёма рассердился наглости клиента. Не в силах сдерживать страшного напряжения, царящего в голове, выложил главный козырь:

– Между прочим, гражданин хороший, врач Клементовский давно умер. Кто вы такой? – и едко сощурив зелёные кошачьи глаза, взял доктора под локоток за изрядно нафталиненный рукав.

– Я? – поразился до глубины души Клементовский, – так я это... просто однофамилец того самого Клементовского, но тоже врач, а значит тоже доктор Клементовский, а вообще-то абсолютно другой человек. Живой.

«Вот шельма сметливая!», – поразился Сёма, однако рукава не выпустил.

– Живой, говоришь? В смысле, живее всех живых? Тоже участковый врач?

– Конечно участковый, какой же ещё? Хотя... с другого участка.

– И тоже покойник?

– Тоже покойник, только ...

– С другого кладбища? – от ужасной глазной боли Сёма вынужден был отпустить неизвестного и схватить лицо руками.

Клементовский очень живо для покойника зыркнул по сторонам.

Отступать некуда: позади канава, спереди Сёма, однако не растерялся, весело подмигнул:

– Как дела?

– Нормально, – выдавил бывший инвалид, а ныне абсолютно здоровый безработный.

Доктор потоптался, шагнул вправо-влево, галоша слезла с сапога, и вновь заинтересовался немного севшим голосом:

– Как дела?

«Эх, водка поддельная была, палёная гадость, отравился я», – вспомнил Егоров, – подняв глаза и глядя на участкового в упор, не мигая.

Под этим героическим взглядом воскресший Зиновий чувствовал себя не в своей тарелке. Дрожащей рукой тёр белый лоб:

– Как дела?

Шляпа слезла, обнажив благородную лысину, ненароком хлопнулась в болотину.

Клементовский попытался спасти её, но тут же следом, от резкого наклона, вредного в столь преклонном возрасте, голова бескровно оторвалась от плеч и, звякнув мелкой монетой, булькнула в ту же канаву безвозвратно, успев на прощание квакнуть: «Как?».

На месте Клементовского невесть откуда взялся вдруг кобель Моряк, сильно покусавший Сёму в детстве, потом выросла родная мать Сёмы, всплеснув руками, рыкнула басом отставного боцмана Коломийца, любившего образные сравнения: «Сто якорей тебе в глотку!», но, получив ведром по голове, сгинула.

Ведро несла на коромысле неосторожная баба Нюра, вздумавшая вернуться и ещё раз проверить кусты:

– Ты чего Семён здесь чудишь?

Не отвечая на вопрос, Егоров смотрел мимо соседки белыми глазами, лихорадочно выстраивая ряд событий: «Клементовский умер давно. Моряк сдох. Боцман Коломиец погиб от кирпича, упавшего на голову... Как бы с матерью чего не случилось, надо сбегать, посмотреть», – и бросился по дороге мимо Контрразведки в ту же сторону, куда недавно улепетывал Кабысдох.

Это совпадение крайне удивило бабу Нюру, она ещё раз обстоятельно исследовала место событий с дотошностью только ей свойственной, вновь потерпев охотничье фиаско.

Сёма бежал не слишком долго, на углу возле погорелого дома, за воротами которого нашёл спасение Кабысдох, ему вновь повстречался Клементовский в целости и сохранности, успевший к тому же где-то переодеться.

Пенсне блистало начищенными стёклышками, метая солнечные зайчики по округе, от шевиотового костюма-тройки, как и от прежнего пальто, за версту несло нафталином и запахом еловых погребальных венков. Лицо имело многозначительное выражение, будто он наконец поставил точный диагноз сомнительному пациенту.

– Домой изволите торопиться? – чуть склонив голову и вращая шеей, дабы убедить окружающих, что никаких неприятностей с ней более не приключится, поинтересовался врач, – да всё с вашей мамой в полнейшем порядке.

Но Семён не верил ему ни на грош: чертыхнувшись обежал воскресшего терапевта по грязи и кинулся дальше.

## 10.

**Соседка Полыхалова изгоняет поборника воды кипячёной Клементовского при помощи воды святой. Лолита Без Комплексов и прочие телешутники.**

Семён дробно застучал в обитую железом дверь.

У кнопки звонка оторвались проводки, он хотел отремонтировать, но мать не разрешила: хулиганы звонят, да убегают, а она ходи, спрашивай: кто там?

Сёма подождал, прислушался. Ещё раз постучал, выждал минуту и заколотил изо всех сил.

– Кто там?

– Я... Сёма.

– Кто?

– Семён. Стучусь уже полчаса. Не слышишь что ли? Открывай.

– Скребётся, как мышь, – раздались удары молотка по тугому крючку. – Есть будешь? Щи ещё теплые, в обед варила, а я смотрю сериал, – мать ушла в комнату, где гудел телевизор, тяжело опустилась напротив экрана на стул.

С утра не евший, но уже выпивший без закуски Сёма налил тарелку погуще, отрезал краюху серого хлеба, взял с сушилки над раковиной ложку, сел.

В двух шагах от него возле старенького холодильника стоял прежний участковый терапевт. Он скромничал, вежливо рассматривая настенный календарь да помалкивал, не желая прерывать сёминой трапезы.

«Вот и протрезвел почти, а этот опять своё продолжает, – подумал Сёма обеспокоено. – Да пусть стоит, чёрт с ним, не стану его замечать, может постоит-постоит и уйдёт».

Заждавшись внимания, Клементовский принялся громко вздыхать, чудно зыркать по сторонам, протирая пенсне большим клетчатым платком, однако от разговора воздерживался.

В дверь постучали.

Пришла соседка из второго подъезда Марфа Полыхалова – долгожительница восьмидесяти шести лет, знавшая всё обо всех и довольно

борзо бегавшая по городу с утра до вечера, хорошенько замотав голову платками в плаще до щиколоток. Из рукавов торчали белые тряпочки вроде бинтов, по виду Полыхалова смахивала на ходячую мумию, глаза которой горели живым пламенным огнём. Она тут же пронеслась в комнату.

– Это, Михайловна, такие дела... телевизор что ли смотришь? Ничего доброго там нет. Сериалы... пустопорожние да секс ихний с утра до вечера.

– В мексиканских сериалах секса не бывает, здесь про любовь. Я только их смотрю, а потом сразу выключаю. Скоро закончится, погоди маленько, сядь, отдышись.

– Я и не включаю, так внуки смотрят всё подряд. В телевизоре жизнь идёт без стыда - без совести, а слова наши русские стараются иностранными подменить. «Скромность» с «совестью» извели полностью, можешь хоть день слушать хоть месяц – ни разу не услышишь. Теперь это у них «комплексами» зовётся. Послушаешь, что говорят и то страх! «Требуется девушка без комплексов», – слыхала объявления? Значит без скромности, без совести женщина, проститутка, короче говоря потребна для каких-то нужд. Искали-искали – нашли таковскую, уже сколько времени ежедневно её народу крутят в передаче «Без комплексов», Лолитой кличут. Бабы на лавочке загадку про неё говорят: «Чудище обло, нагло и голо. Кто такая? Лолита Без Комплексов». А ей хоть бы хны. Когда ещё певичкой выступала, обожала заголиться поболее, хамить всем подряд, и прыгать с размаха в зрительские ряды на мужские колени, причём мужиков выбирала здоровенных и чтобы обязательно с женой был на концерте. Ох, и выворачивалась её душенька на тех коленках на изнанку!

– Нет, я только мексиканские сериалы смотрю да бразильские иногда. Новости – боже сохрани, одни убийства со смертями показывают, пожары да крушения с авариями. Ещё рекламу вертят с сексом. Вот смотри, пять минут показали сериал, теперь десять минут уже как реклама идёт.

– А то ещё придумали передачу – хуже некуда: соберутся за столом и анекдоты травят – хохочут, аж закатываются, ржут как лошади на конюшне. Глядь, меж ними покойник сидит, смотрю и правда, этот же умер давно. Нет, тоже зубы скалит рядом с живыми. Как им смотреть не тошно? Над чем смеются? Будто вызывают с того света специально душеньку неприкаянную и заставляют хохотать. Вот где господне наказание для всех! Умер же человек, дайте ему покоя – нет, зовут выставить на общее обозрение, сплошное сумасшествие это их шоу. Не разобрать кто живой, кто мёртвый, ад кромешный, светопреставление, конец света наступил, не иначе.

«Может быть, Клементовского тоже вызвали на какое-нибудь телешоу?», – подумал Егоров.

Над столом в кухне между окном и трубой отопительной системы с давних пор висел настенный православный календарь за какой-то позапрошлый год, изображающий Богоматерь с младенцем. Чуть выше на гвоздике косо торчала тёмноликая иконка, и на том же гвоздике крепились искусственная розочка да букетик засохших веточек вербы от Вербного воскресения.

Полыхалова перекрестилась на календарь.

Она никогда не садилась в гостях за стол. Перекрестившись, глянула на раковину, где протекал резиновый смеситель: кап-кап-кап, рядом с которой беззвучно стоял задумчивый Клементовский.

– Что это? Что это у вас там? – указала старуха на место за холодильником.

– Что? Где?

– Пятно какое-то померещилось, али тень. Возле мусорного ведра за холодильником.

– Это с улицы на стене иногда отражается. Дом напротив построили, так солнце отразится другой раз в их окнах, пройдёт через ветки березы и целый лес на стене вдруг вырастет.

Полыхалова перекрестила угол широко, твёрдо, словно вколачивая в лоб, ноги и руки привидения гвозди-сотки жёстко сдвоенными перстами.

– Свят! Свят! Свят! Во имя Отца и Сына и Святаго духа! Изыди, сатана!

Клементовский, кажется, был поражён не меньше Сёмы.

Изумлённо расширил бесцветно-стеклянные глаза, склонил на бок голову, выпятив губу смотрел, как воинственная Полыхалова чуть не кидается на него, и не находил слов для определения столь поразительного природного явления, сродни радуги в полнеба на Рождество.

С дотошностью диагноста-практика старой закалки, восставший из послевоенного прошлого терапевт приблизился к пациентке мелкими трусящими шажками, наморщил лоб, пытаясь понять, в чем собственно состоит причина столь неожиданной мании.

– Чур меня! – вскрикнула Полыхалова, попятившись, – Семён, где тут у вас святая вода?

Вода пребывала с самого Крещения в трёхлитровом бидоне и не думала портиться. Полыхалова размашисто окропила Клементовского, бормоча сквозь зубы быстрые молитвенные слова. Да ещё! Да ещё! Капли расплывались на белёных стенах, запахло мокрой известью.

Бывший участковый попятился к раковине, смотрел на Сёму обиженно: чего, мол, глупая пристала? Пожал плечами, рискнул взять капельку святой водицы на язык, но определить примеси не смог, выплюнул, ибо вода оказалась не кипячёной, а он всю свою жизнь потреблял исключительно кипячёную воду, предохраняя почки от камней. Пытался увернуться, но старуха наступала и прыскала прямо в блистающее пенсне.

Доктор протёр стекла платочком, хотел что-то объяснить Сёме, но только огорченно махнул рукой и тотчас будто сквозь землю провалился, неудачно громко стукнув ногой о мусорное ведро.

– Исчез, нечистый дух, – торжествуя возвестила Полыхалова, победно крестясь костлявыми перстами, – ишь, как серой воняет, а то нашел место, где являться. Полбидона святой воды ушло, силён дьявол, да против Святаго духа и он – никто!

– Ерунда, – возразил Сёма, – это мокрые стены известкой пахнут. И вообще просто оптическое преломление световых лучей. Плюс белая горячка. Или массовый психоз.

Полыхалова обиделась.

– У меня психоза нет, у меня псориаз. Кропить святой водой никогда не вредно, – пройдя в комнату, она и там побрызгала по сторонам и села на диван. – Ой, ноженьки гудом гудят.

Семина мать согласилась:

– Не говори ... расходишься – вроде ничего, а как присядешь чуток потом и не встать, ноги как чужие. А ещё с утра в печень сильно вступило, тяжёлая стала, раздулась, а всего-то и съела солёный помидор. В охотку так хорошо посолониться, ты ведь знаешь, как я люблю помидоры и свежие и солёные.

– Не говори, сама такая. По мне главное – питание, а что до тряпок, что надел, то и носишь, правда ведь? Не велики баре и не модницы давно. Ладно, побегу домой, Сенькин третий день обещает прийти батарею смотреть, промывать или еще чего делать.

– У меня тоже совсем не греют: на кухне чуть-чуть тёплая, хорошо в последнее годы зимы сиротские стоят. Менять надо, а где деньги взять?

– Ну, ладно, побегу я.

Семён вымыл посуду, убрал со стола хлеб и осторожно присел на диван.

Мать сидела перед телевизором подавшись вперёд, к мутному расплывчатому экрану. Лицо имело выражение приятной удивлённости, будто в гости вдруг неожиданно – негаданно нагрянули давнишние подруги.

Сёма поразился какой старой она стала. Всё вроде была ничего, сила и энергия не покидали работающих рук, а тут вдруг весь вид извещает о желанности долгого-долгого отдыха. Не только стара, но ветха в этой комнате, перед тлеющим экраном телевизором, изливавшим в её глаза голубой свет, и видно, что даже собственный старенький халат вдруг сделался сильно велик.

Диван, на который опустился Сёма, тот же самый, на котором он спал в детстве, с тёмно-зелёной обивкой и деревянными лакированными подлокотниками, что вываливаются и со стуком падают на пол, если на них неосторожно положить руку.

Два окна выходили на разные стороны угловой комнаты, принося много света, а зимой и холода. Сёма поджал ноги. Ему не хотелось в общежитие.

– Поел? – спросила мать, подходя к телевизору, выключая его и накрывая сверху бархатной салфеткой, чтобы не пылился зря.

– Да.

– Ну и ладно. Работы никакой не нашёл?

– Да так, по мелочам, халтурка одна подвернулась с утра.

– Хоть по мелочам и то хорошо. Сейчас время такое, что доброе трудно найти. Вон, у Марьи Андреевны дочь тоже безработная осталась, а у неё двое

детей, знаешь Марью Андреевну из соседнего дома, напротив нашего? Полная такая женщина... Так вот теперь все живут на пенсию Марьи Андреевны, а что делать? И многие так, я посмотрю, за счёт стариков выживают, а в деревнях так и поголовно.

– Можно у тебя сегодня переночую?

– Опять с Ирмой поссорились?

– Она к сестре уехала в гости, работы тоже не может найти.

– Тем более дома надо ночевать. Прознает ворьё, что никого нет, мигом обчистят, какие в вашем общежитии головорезы живут, таких больше нигде нет. Софья Васильевна из четвёртого подъезда поехали с мужем в сад, у них своя машина, через два часа вернулись, а трёхкомнатная квартира пустая стоит, только сквозняк по комнатам гуляет. Что нажили за всю жизнь – всё вынесли, пустые комнаты остались – шаром покати.. Когда успели вытащить, как узнали – неизвестно. Так что, иди, сынок, дом карауль. Конечно, вещей у вас немного, а совсем остаться без ничего по нынешним временам – и врагу не пожелаешь.

Семён резко встал, вышел в коридор обуваться. Мать тяжёло поднялась следом. По дороге завернула на кухню, открыла холодильник, вынула из морозилки половинку курицы и стала засовывать в полиэтиленовый пакет.

– С собой возьмёшь, я не хочу есть, что-то совсем аппетита нет.

– Да зачем? – ответно нахмурился Семёна, – потом суп себе сварить. Пусть в морозилке лежит, что ей сделается?

– Я говорю – бери, значит – бери. Да, чуть не забыла, послушай, вот что я хотела тебе сказать, сходи-ка ты в бюро по трудоустройству. Марья Андреевны дочь состоит там на учете и говорит, что безработным нынче обещают платить немного денег на пособие, стаж для пенсии идёт к тому же, ты сходи, встань на учёт, хуже ведь не будет.

– Если пособие платить стали, конечно схожу, встану. А так, за бесплатно – извините, уже бывал. Места негодные предлагают, копеечные, на дальних окраинах, больше ботинки изорвёшь, да денег на транспорт истратишь, чем потом зарплаты получишь. А всё едино ехать должен к ним с направлением от службы занятости. Приедешь, там тебе говорят – уже приняли третьего дня, но печать поставить на направлении не можем, секретарь отбыла по делам в неизвестном направлении, приходите другой раз. Здравствуйте вам. Подождёшь, подождёшь секретаря, да и уедешь не солоно хлебавши. На другой день снова топаешь туда же пешком, деньги ведь на транспорт уже раз потратил, а печать надо ставить-отмечаться, что у них побывал. Так два, а то и три раза сгоняешь. И такое не одно место, а десяток в бумажке. Круглый день носишься савраской, собираешь отказы, потом с этими отказами к определенному часу к инспектору обязан прийти. Она тебя изругает в воспитательных целях как дрянь какую-нибудь непотребную, пальчиком у носа пригрозит, и очередную бумажку с адресами распечатает: иди, бегай Емеля, твоя неделя!

– Ты сходи всё же.

– Схожу. Мама, помнишь доктора Клементовского?

– Врача участкового бывшего? Ну, а как же. Да мы с тобой были на его похоронах, весь народ окрестный тогда собрался доктора проводить. В доме у него – шаром покати, пианино большое чёрное имелось, а пола голые: ни половичка нигде, ни коврика и жена молодая возле того пианино сидела. Я ещё подумала – дочь, а мне сказали: нет – жена. А ему, между прочим, за семьдесят было и хорошо за семьдесят.

Она вдруг растерянно посмотрела в тёмный угол коридорчика прихожей, где на корзинках со старыми садовыми тряпками притулился Клементовский.

«Откуда взялся, – болезненно наморщился Сёма, – вроде чёрта рогатого, кликнешь нечаянно, а он уж тут как тут, бес плешивый. Голова от него раскалывается, точно. Вот прицепился».

Терапевт не возражал, отмалчивался, чувствуя себя неуютно после рокового столкновения с кержачкой Польшаловой.

## 11.

**Встреча Сёмы Егорова с женой после долгой разлуки немедленно разрешается месячной беременностью. Клементовский зовёт к отпущению. Раздел комнаты и телефона. Доктор-привидение пугает неверную жену, возвращая её на супружеское ложе. Поход в бюро трудоустройства.**

Семён отправился в заводское общежитие, где был прописан и жил с незапамятных времён в одной комнате с женщиной, которую звали Ирмой.

Высокая, полная, светловолосая, без особых примет: глаза светлые с голуба, лет под сорок, в основном молчаливая. Из-за имени её считали то ли эстонкой то ли латышкой. Когда спрашивали: эстонка? – она подтверждала кивком, спрашивали: латышка? – тоже кивнёт, и всё, об остальном – молчок.

Одно время они с Сёмой работали в транспортном цехе обмотчиками, и по некому душевному молчаливому родству незаметно для себя самих сошлись по случаю какого-то праздника, впоследствии официально зарегистрировались, получив на молодую семью комнату в общежития, где и стали жить-поживать добра наживать.

На самом деле Ирма не имела к балтийским национальностям никакого отношения, имя ей придумали увлечённые творческими поисками родители-физики, исследовавшие свойства иридиевой магнитной аномалии, на которой оба защитили докторские диссертации.

В детском возрасте Ирме собственное имя очень не нравилось: «Ну зачем вы называли меня Ирмой? – приставала она к родителям, – назвали бы Таней или Наташей. В детском саду всех зовут Танями и Наташами, одну меня, как дурочку – Ирмой». «Скажи спасибо, что не назвали Аномалией», –



смеялся в ответ папочка. – Если хочешь, начнём хоть с завтрашнего дня звать тебя Аномалия, сокращенно Амали. Нравится?».

Папа был шутник. Со своей стороны мама изо всех сил старалась открыть в Ирме творческую жилку. Она была уверена, что полноценный человек обязательно должен творить ежедневно и ежечасно. Конечно, хозяйством творческие люди почти не занимаются, да бог с ними: с дачей, с гаражом, с машиной, с ремонтом квартиры, который в их семье откладывался десятый год, пусть Ирма тоже станет творческой личностью, желательно не в физике, в физике очень трудно нынче, пусть станет поэтессой, художницей, искусствоведем. Что-то в этом духе.

Папа замечательно играл на шестиструнной гитаре, исполняя классические произведения, рано научил Ирму простейшим аккордам, далее которых она не пошла, зато песни начала слагать сама чуть ли не с первого класса, исполняя их на манер Вероники Долиной бархатистым нежным голоском рассказывая о терниях любви, в которой, казалось, сама ничего еще не понимала, но сочетание детскости и серьёзности поражало и восхищало слушателей. Кроме того девочка отлично танцевала, недурно рисовала, окончила художественную школу, а вот обычную завершить не удалось как раз из-за того, что в шестнадцать лет стала бардом-красавицей, известной в их маленьком Академическом городке.

Сначала пришло время школьных туристических походов, где у вечернего костра окрепло и обрело широкую огласку её песенное творчество, а в девятом классе влюбилась в студента - старшекурсника по кличке Мак и на лето отпросилась у родичей ехать с ним в туристический лагерь.

«В маки уходишь? – пошутил как всегда папа и конечно разрешил, не особо досаждая вопросами. Денег выделил немалую сумму тоже без разговоров, зная, что новички всегда платят больше, им нужна экипировка. Сказал только, что на такие средства можно двух «снежных барсов» подготовить на Гималаях.

Мак хипповал, был поклонником группы Битлс, в особенности Пола Маккартни, на которого он немного походил, за то и кличку получил Мак, и стрижку делал такую в точности. Его комната в университетском общежитии была с низа доверху оклеена цветными дефицитными вырезками из иностранных журналов с изображением кумиров.

Лагерь организовали не туристический, а хиппово - палаточный для отдыха на берегу реки, подальше от населённых пунктов, чтобы не досаждали местные. Точнее не лагерь, а коммуну, на манер западных молодежных коммун хиппи.

«Будем наслаждаться на лоне природы цветами, травами, битлов крутить, петь у костра и любить друг друга», – говорил он Ирме, объясняя идею летнего отдыха.

Окончание фразы Ирму смущало своей неоднозначностью, однако поехать ей очень хотелось, чтобы оказаться с Маком в столь прекрасном месте.

И действительно коммуна расположилась на живописном берегу чистой речушки с песчаным пляжем, рядом цветущий луг и березовая роща. Поставили несколько разномастных палаток и шалашей типа вигвам из березовых веток. У Мака палатка самая крутая, польского производства, двухместная. Вечером у костра песни Ирмы произвели фурор, ею восхищались все без исключения, питание было превосходным: тушенка, сваренная с брикетами гречневой каши, галеты, сладкий чай и портвейн 777 в неограниченном количестве. Макс говорил, что семерка сама по себе счастливая и магическая цифра, а три семерки делают напиток просто волшебным. Ирма попробовала и согласилась. Она почувствовала себя по настоящему смелой, современной девушкой, которая ничего не боится и во имя любви может совершить любые подвиги. После песен, костра, магнитофонных битлов и портвейна, они с Маком вошли в палатку и в первую же ночь стали жить в ней как муж с женой. Неделя пролетела медовым месяцем.

Днём купались в реке, самодеятельные художники рисовали этюды, Ирма тоже, в одиночку и группами ходили за грибами в рощу, пили вино, ловили рыбу, жарили на углях, снова пили вино, собирали цветы на лугу, плели венки, делали и дарили друг другу «фенечки», слушали бардов, их кроме Ирмы оказалось несколько, а главное все поголовно были влюблены, парочки обнимались, лежа почти раздетыми на песчаном пляже, подолгу целовались, занимались сексом.

Секс на открытом воздухе на глазах всех прочих вверх девятиклассницу в шок. Ирма бросилась к Маку с вопросом: зачем делать это открыто? Тот ответил, что здесь собрались свободные люди, которые поступают так, как считают нужным, нельзя подобно коммунистическому режиму ограничивать свободу членов своей коммуны, где люди - братья. Не хочешь – не смотри. Но сковывать других цепями фальшивого мещанства здесь нельзя, любовь – свободная страна.

Вечером, попев у костра, хорошо закусив и попив 777 они занимались сексом уже не в польской палатке, но тоже на песчаном пляже, слыша, как захлёбывались от любви соседние парочки. Светили звёзды, крутилась бесконечная плёнка магнитофона: битлы пели про свободную любовь. Мак говорил ей, что в социалистическом обществе они все рабы государства, которое заставляет их до конца жизни работать за гроши, ограничивая набор даже тех небольших физиологических радостей, которое имело человечество с древних времен. Только здесь, на природе они освобождаются от пут идеологии, становятся по-настоящему счастливыми, делая то и только то, что им нравится.

Под утро Мак выдохся, устал, даже очередная порция волшебных семёрок не помогала любить дальше, и с горечью сказал, что настоящий коммунный дух ей пока недоступен, к огромному сожалению. Что надо любить всех своих близких, а не одного лишь его. Если сейчас она не докажет этого с его лучшим другом Джоном, носившим круглые очки в честь Джона Леннона, который давно её хочет, то Ирма про него, Мака, может

забыть и убираться куда пожелает – на все четыре стороны, никто её не держит.

После чего встал и ушёл спать в свою польскую палатку, а вместе него рядом прилёг Джон, а она не могла встать и убежать следом за Маком, так была очень пьяна, и после тех его слов стало всё равно, с кем лежать на траве под звёздами, самой став падшей с неба пятиконечной звездой, с разбросанными в стороны ногами и руками. За остаток ночи с нею возлежать вся мужская часть коммуны. Прежней смелости в Ирме не осталась ни грамма, желания совершать во имя такой любви подвиги тоже, их заменило равнодушие к себе, к ним, и даже звёздному ночному небу. Её торжественно перенесли с пляжа в специально построенный и пустовавший пока шалаш, где Макс торжественно провозгласил, что теперь она стала настоящим членом коммуны, своей девушкой всех членов. Надели ожерелье из березовых листиков и красную кожаную фенечку на левое запястье, пояснив, что красный цвет означает любовь. Что значит – она любимая девчонка всей коммуны.

Когда Ирма проснулась на следующий день и в новом для себя ужасном состоянии выползла из шалаша, ей тут же дали выпить стакан 777, покурить травки, после чего сделалось ужасно весело, она прохохотала весь день, распевая песни под гитару, разделась, чтобы загореть как следует, и ходила голая, впрочем, как многие другие девушки коммуны, спокойно ложась на травку или песок по заветам Мака с каждым, кто её пожелает, то есть подойдёт и поцелует в левую грудь, что над сердцем, требуя любви.

В шалаше ничего не было, спать оказалось неудобно, воровать сено на подстилку из колхозных копёнок пришлось самой. Иногда по старой дружбе в шалаш заглядывал Мак, но много чаще сюда влезал почему-то Джон, к энергичности которого, впрочем, она скоро привыкла, начав даже предпочитать Маку в сексуальном отношении. Другие парни также не обходили стороной, сено оказалось кстати, но погода испортилась, шалаш потёк, еды почти не осталось, одного портвейна по-прежнему было хоть залейся.

Однажды Ирма протёрла глаза от дурного сна, ойкнула, но мираж не уходил, с ней был не Мак, и не Джон, не кто-то из парней коммуны, а какой-то вонючий старый мужик, противно пахнувший табаком и коровьим навозом. Она гневно потребовала, что бы он немедленно проваливал на все четыре стороны, иначе её друзья его прибьют.

«Заткнись, сучка, шалашовка, я за тебя ведро грибов каких хороших отдал, молчи, пока удовольствия не получу, а то прибью, заразу такую».

Когда мужик убрался, Ирма нашла Мака спросить в чём дело, что это значит? На что тот вдруг разорался, что у него народ сидит голодом, деньги кончились, от неё не убудет, если она даст мужику за ведро грибов для коммуны. Грибы уже варятся, она тоже получит свою долю, коммуна есть коммуна, у всех свои права и обязанности. И спросил: выпить хочешь? От ужаса происходящего Ирма принялась пить много больше обычного и последующее воспринимала как бы сквозь сон, как бы со стороны, так было

легче, как будто это происходит не с ней – юной поэтессой, шестнадцатилетней талантливой певицей, художницей, не со школьницей и почти ребёнком в конце концов, а с какой-то скверной, затасканной шалашовкой и даже, действительно, в конец опустившейся, вечно пьяной сучкой, дрянью, всю тянущей травку, просящую затычку взамен на любовь в неограниченном количестве даже без поцелуя в левую захватанную многими руками сиську.

В конце августа она вернулась домой, где всё открылось при отягощающих обстоятельствах на дне рождения старшего брата, когда она привычно быстренько напилась не в зале, а на кухне, разделась и пристала к другу отца, чтобы он полюбил её срочно прямо сейчас в кабинете на диване.

Скандального судопроизводства в маленьком Академгородке, где все друг друга знают, родители устраивать не захотели, но что делать? Как быть дальше? Врач - психолог советовал срочно менять место жительства и круг общения, одним словом, уезжать. Докторам наук бежать из своего Академгородка невозможно.

Отправили Ирму к сестре Надежде. Та окончила университет и почему-то на последнем курсе разочаровалась в науке, бывает так, зато вышла замуж и уехала с мужем в далёкий областной город, где стала работать в школе.

Ирму отвезли к сестре на перевоспитание, а сестра с ней не справилась. Девочка наотрез отказалась идти учиться в школу, идея поступить в вуз её почти пугала, как и слово «студенты», пошла работать на завод, а жить устроилась в заводское общежитие. Подозревая худшее (чем она там занимается в общежитии?) сестра вынуждена была наводить негласные справки, однако постепенно выяснилось, что живёт Ирма тихо, кавалеров не имеет, работает хорошо, хоть и не передовичка и не героиня труда.

Кавалеры обходят её стороной не случайно: внешне очень переменилась, за год буквально превратившись из симпатичной весёлой девчушки в дебелую рослую неразговорчивую женщину с надутым лицом. Изросла, как говорится, далеко не в лучшую сторону.

Через десять лет работы на заводе вышла замуж за Егорова. Мать Сёмы, познакомившись с невесткой, сказала сыну, что «Ирма живёт, как в воду опущенная». Спросила, что говорит о своём прошлом, про родителей, где жила, что делала. «Ничего, – ответил сын, – ни о прошлом ни о будущем мы с ней не разговариваем, сегодняшним днём только перебиваемся. Сестра у неё есть в нашем городе, больше ни про кого не говорила». «И не спрашивай, не надо, – посоветовала мать, – захочет сама расскажет. По нашей-то жизни от сумы да от тюрьмы ничем не заречёшься. Когда мы вернулись с лесоповала, пришлось ходить по деревням, христом богом просить. Не знал? Ну, видишь, тоже тебе не рассказывала, чего бы доброго... У нас своего ничего не осталось, хорошо тётка Авдотья приютила шесть душ жить в бане. В то время уже многих заставили землю со скотом

сдать в колхоз и самих туда вступить, как в крепостничество обратно, чтобы за трудодни работать.

На колхозных полях ничего толком не росло, ни рожь, ни лён, ни картошка, тут и голод начался. Сшила мне мачеха суму из старой холстины, надела на шею и отправила милостыню по дворам просить. Ходила я и по своей деревне, и в соседних просила. Кто подавал кусок, кто говорил, что самим есть нечего. Что вспоминать? Вечером принесу сколько насобираю, мачеха начинает сестёр кормить в первую очередь, они у неё маленькие. Отвернутся от меня, едят, я сижу, жду, потом мне даст, что останется. А из сумы я никогда не брала, какая бы голодная не была – ни кусочка, всё домой приносила.

В нашем-то прежнем доме красную избу-читальню устроили, там синеглазники выступали городские. Приедут, агитки прокричат, раскулачат кого-нибудь в пользу колхоза – скот отберут, выселят, процесс проведут образцово-показательный, овечку реквизированную зажарят, самогону напьются и давай матерные частушки Демьяна Бедного по деревне ходить – кричать. А мы прячемся в бане, голодные, выйти боимся. Спектакли ставили громкие, мировую буржуазию ругали, культуру в народ двигали. Продотрядов тогда уже не было, в деревне китайцы стояли, чоновцами их называли. Наша деревенька на что маленькая была, всего две фамилии, а отряд при ней был человек двадцать, все в шлёмах краснозвездных, шинелях, с винтовками. И в каждой соседней деревеньке тоже самое: коллективизацию помогали проводить китайцы, особенно экспроприировать любили кулаков, пока всех под корень не раскулачили, не съели всё – не успокоились. Ребятишки малые их дразнили: «Ходя, соли хочешь?». Крикнут и в рассыпную. А китайцы такие злые, представляешь, через всю деревню будет с винтовкой за дитём бежать, поймают и ну ухо драть. Многим мочки оторвали, а кому и уши целиком...».

Егоров и без совета матери ни о чём Ирму не расспрашивал. Когда потерял работу, начал пить, Ирме его питьё не нравилось, сама она капли в рот не брала никогда, вследствие чего частенько стала уходить к сестре: то на неделю, бывало, а то и на две исчезнет. Адреса сестры Семён не знал, телефона тоже. Не видел ни разу той Надежды, не соизволили представить мужа в приличном доме. Так привыкла уходить, что даже теперь, когда Сёма почти не пьёт, а лишь слегка закладывает за воротник, всё равно исчезает часто и надолго, вроде как по привычке.

Когда вставил ключ в замочную скважину, с облегчением понял – дверь открыта, значит Ирма вернулась.

И точно, стоит возле стола, достает вещи из сумок, что притащила обратно, подглаживает платья, вешает одно за другим в шкаф. Долгонько гостила, почти все шmutки перетаскала к сестре, много гладить придётся.

С другой стороны стола возле окна восседал с подчёркнуто официозным видом и неуверенными глазками покойный терапевт Клементовский, явно опасавшийся, что застав его наедине с Ирмой, Сёма кинется выяснять отношения.

– Здравствуйте, – сказал Егоров, хмурясь от боли в глазах и висках, возникающей всякий раз при явлении миража.

Ирма решила, что супруг в её адрес раздражён, поэтому, не отрываясь от утюга, тоже весьма прохладно, без выражения мало-мальского благоволения отвечала в ироническом тоне:

– Здравствуйте вам.

Разувшись у порога, Сёма достал пакет с курицей, открыл холодильник закинул его в морозилку.

Ирма сопровождала действия задумчивым взглядом.

– Я картошки привезла три килограмма. Давай потушу курицу с картошкой?

Это было предложение о воссоединении хозяйственно-семейных отношений в зарегистрированных рамках. Отношения то исчезали, то возникали вновь самым непредсказуемым образом, согласно желанию Ирмы. Сегодня они снова возымеют действие, скорее всего, благодаря половинке курицы, которую мать Сёмы предусмотрительно ему навязала, определив роль добытчика и кормильца. По причине развала завода, Ирма тоже давно без работы сидит, перебиваясь портняжеским ремеслом, кроит юбки с женскими халатами для базарной продажи..

Сперва совместный добрый ужин, затем совместная постель.

Когда супруга начнёт резать курицу на аккуратные кусочки, или чистить картошку, стоя у стола, он подойдёт сзади, обнимет полноватую талию, осторожно ткнётся губами в шею, медленно приближая ладони к большой стойкой груди, а она будет ёжиться, чувственно изгибаться и поводить ножом, который не выпустит из рук. С этого начнётся воссоединение. Ладно, тогда сегодня можно не ходить в бюро трудоустройства, лучше завтра с утра. Утро вечера мудренее.

Сёма открыл рот ответить: ну, давай!

Тут, ни с того ни с сего, Клементовский приложил палец к губам. Вскочил, быстренько обежал столешницу, принялся разглядывать затылок Ирмы, то снимая пенсне, то напяливая обратно на гоголевский нос.

Стул занял Егоров. Заложил ногу на ногу.

– У тебя какая неделя беременности нынче идёт?

Ирма вздрогнула от неожиданности.

– Можешь не отвечать, знаю, четвёртая. Всё это время жила ты с Маком на даче, которую он нанялся охранять вблизи Ширинкиного озера. Хозяева вернулись, пришлось второпях спасаться бегством, Макуша обратно к жене потёк, ты сюда. Завтра делать аборт собралась, как и в прочие разы, когда сходилась с ним же по любви, а возвращалась злая, как чёрт, после чистки.

Ирма хотела ответить, открыла рот, но передумав, закрыла, перестала гладить, опустила на стул, начала было плакать, потом вытерла слёзы, задумалась, будто припоминает что, но безрезультатно, аж морщинки посетили пухлый лоб.

– Нет, неправда, – сказала после минутного молчания, – на этот раз надо родить. Скоро сорок стукнет, куда дальше откладывать?

Глаза у Ирмы чистые, правдивые, совсем не испуганные, говорит, что думает и не стесняется.

– Вот бабье отродье! – вскинул седенькие бровки Клементовский, одновременно печалась нижней половиной лица, включавшее полотнище тонкого, просвечивающего на солнце полотнище паруса-носа, павшего ниже некуда из-за полного штиля. – Эх, люди, люди, ни стыда у вас нет, ни совести. Другая бы какая гражданочка, мужем застигнутая на посторонней связи, хоть слегка устыдилась, хоть немножечко, хоть чуть-чуть да по христиански взяла и ушла куда глаза глядят, освободила старичку болезному кровать и пару квадратных метров для проживания. Старичок бы, глядишь, салфет вашей милости объявил в благодарность.

– Никуда я отсюда не уйду, – воспротивилась Ирма. – С места не сдвинусь даже. Ишь, чего захотел! Я здесь прописана! И ребёнок мой здесь жить станет.

– А кто такой Макуша? Ни разу прежде не упоминался?

– Тебе теперь какое дело? – Ирма хмурилась вспоминая, встречалось ли прежде имя Мака в их семейных беседах, или ускользнуло.

И видно было, что вспомнить толком не может, очень дивясь данному обстоятельству, и вообще всему нынешнему случаю, так как памятью всегда обладала отменной, дай бог каждому такую память, как у Ирмы.

В краткий миг раздробился Клементовский на кучу первородных космических осколков, которые тут же помчались вокруг головы женщины, будто планеты Сатурн, на глазах превращаясь в плотный диск и закрывая лицо неверной жены от насупившегося Сёмы.

«Муж парикмахерши, известное дело! Издевается, дрянь такая! Столько лет низалась с любовником, чего только с ним и где и главное в каком положении не вытворяла, чего только про тебя меж собой они при том не говорили. Как не обзывали Сёму, считая конченным идиотом. Какой мужик будет годами сносить это такое поругание? Нельзя подобное терпеть! Это ведь не раз и не два! У неё вся жизнь на измене выстроена от начала до конца. Она уже сама себе не рада, когда приходится возвращаться на прежнее место жительства и врать, врать, врать. Думает: «Лучше бы мне умереть. Лучше бы убил он меня, что ли, чем такое вечное-бесконечное». А ты возьми и убей, дай душеньке её облегчение, она уже вся измучилась, душенька-то в грехах утонув по ноздри, столько дряни нахлебавшись! Принеси освобождение, сбрось с балкона! Сейчас подойди, на ручки схвати, закрути на месте, а как она вся телом разнежится довольная, расслабится, разулыбается тебе, змеюка подколотная на груди согретая, а ты её тогда поцелуешь в щечку да нежно этак с балкона вниз и уронишь. Сразу хорошо всем станет. Макуша от неё сбежал, ребёнок этот ему сто лет не нужен, она про то прекрасно осведомлена, тебе хотела подкинуть водиться. Скажешь потом в милиции – де сама бросилась от любви несчастной к Макуше, не

выдержала, бедняжечка, грусти-горечи расставания навсегда, свалишь на него и все дела».

«Постой, постой, какая парикмахерша? Какой муж парикмахерши? Не знаю никакой парикмахерши!»

«Да потому и не знаешь, что скрытная бабёнка жёнушка твоя. А ты спроси у неё, есть муж у парикмахерши или нету, будет тоже уверять, что не знает никакой парикмахерши и век не стриглась. Дурачина ты Сёма – простофиля, хотя и Бог наш бывший по совместительству».

И тут произошло событие, коего никто в комнате не ожидал: Сёма мысленно сгрёб почтенный призрак за шиворот и выкинул в форточку.

– Убьюся же! – завопил Клементовский, рушась отвесно вниз большой грязной сосулькой, что оторвалась с крыши и с уханьем пролетает мимо окна.

Прочие жители комнаты этого ужаса словно не заметили да и откуда летом сосулькам взяться? Подобного происшествия весной следует остерегаться, не ранее начала марта, когда тротуарами сугробными прохожий опасно пробирается возле домов с табличками: «Осторожно! Возможен сход снега!», вверх трепеща поглядывает: успеет проскочить али нет? И голову при этом в воротник втягивает совершенно, впрочем, напрасно. И то сказать, какая воротник защита против тонны обледеневшего снега, который вот-вот айсбергом ринется вниз, или даже простой стокилограммовой сосульки острой как пика упадёт, легко пробивающей и тот воротник и черепную коробку. Да чего думать-то? Прыгай зайцем, авось проскочишь!

Главное, по дороге опасный тротуар обходить не вздумай, не след простому смертному на чистое шоссе соваться, там уж точно каюк быстроходный поджидает в виде мерседеса али бэ-эм-вэ сверхскоростного. Такие страсти исключительно с марта по апрель в городе творятся. Нынче же, по летнему благодатному сезону, несмотря на то, что волшебные предупреждающие таблички про сход снега продолжают висеть на прежних местах в ожидании следующего сезона, освобождая домовладельцев от юридической ответственности за нечищенные крыши в результате которых бывают проломлены головы и сломаны шеи пешеходов (сказано же: Осторожно! Зачем шлялся? Просили тебя? Нет, предупреждали!), граждане картошку с курицей потушили совместно в траурном молчании, но спать легли поврозь.

Прежде, чем уйти на боковую, Семён не поленился кусочком ирминоного портновского мела, которым она кроила халаты, прочертить на полу от двери линию, разделившую комнату ровно пополам.

И стол расчертил и подоконник, даже телефон на подоконнике, отведённый от соседнего дома.

Умная Ирма не стала выспрашивать, что бы это всё могло означать: ходила только по своей половине, хотя и неудобно местами полновесным телом изгибаться, а Егоров по своей. Чего спрашивать? Неужели не ясно?



В первом часу ночи неверная супруга, ни с того ни с сего завизжав дурным голосом бросилась на Сёму, с размаху врезав коленом в бок настолько сильно, что он решил, что намеревается убить его во сне жёнушка да скинуть с балкона, чтобы по совету того же Клементовского, сказать впоследствии расследующим дело органам, что, дескать, сошёл Сёма с ума и упал вниз по пьяному делу самопроизвольно. Не бывает разве подобных случаев? Да сколько угодно, то в газете напишут, что пьяный мужик свалился с балкона вдребезги, то по телевизору тело покажут вездесущие телерепортёры: видите ноги из сугроба торчат? Он! На жену никакого подозрения не падает, естественно, разве может слабый пол с пьяным мужиком справиться? Да запросто, коленка-то здоровая как молот.

А после чего многие лета жить-поживать отдельно, приглашая на выходные некоего неизвестного Макушу.

Однако и здесь столь долгожданного для Клементовского убийства не случилось. Ворвалась неверная под одеяло к мужу вся холодная, сотрясаясь от страха, притиснулась и громко выла, что приснился ей самый ужасный сон в жизни, теперь она ни за что на свете не будет спать на своей кровати, а только рядом с Семёном, лучше в обнимку, даже если он её сейчас убьёт, пусть убивает здесь, рядышком, здесь не так страшно. На свою койку больше ни ногой. Ни за что на свете, никогда, и ни за какие пряники.

Сёма обеспокоенно глянул на ирмину кровать, где в темноте явственно благоденствовал призрак покойного Клементовского, мерцая из-за угла подушки золочёным пенсне. Вроде даже подмигнул: знай де нашу булыгинскую шпану!

– С утра завтра первым делом в церковь отправлюсь, привяжу тебя над свечами на дыбе и на святом огне поджарю, дьявольское ты отродье, – пообещал привидению, – надоело с тобой цацкаться.

– За что, шеф? Ну, пужнул человечичу для острастки, о, подумаешь, делов-то! Ладно, ладно, селюсь под кровать, раз такое дело серьёзное и гробушника навеки лишён. Да не впервой, поди: меня Фенечка сколько раз, бывало, туда загоняла! А женихи ейные, собаки паршивые, кидались чем ни попадя, чёртовы дети, но ничего, все, слава богу, попридохли, я один жив-здоров и снова как-нибудь перебыюсь помаленьку. Эх, Сёма, Сёма! Не понимаешь своей выгоды ни на грош! Вот убил бы дуру неумышленно, как я тот раз советовал, в сей момент оставил бы тебя в покое навсегда, отлетев вместе с душой новопреставленной за компанию. Крест кладу, глянь! А так придётся нам блукать рядышком, ты уж извини барабашку невезучую, негде ей приткнуться, дороги не знает ни в рай ни в ад. Единственный ты мой спаситель, Сёма, Бог Живой, значит судьба моя при тебе оставаться на веки вечные, ещё и на могилке твоей, небось, навоюсь когда-нибудь с ветрищем осенним на пару: ууу-ууу! Будет случай и там сгожусь на что: бомжей когда распугаю, если табличку из нержавейки начнут с памятника отрывать через неделю после похорон для пункта приёма цветмета. Ужо я им изобразу шоу! Узрят кукарачу собственными зенками. Надолго дорогу на кладбище забудут, ядри их в качель, если, конечно, сразу не окачурятся

рядом с нашенской невзрачной могилкой. Могилка-то у тебя Сема заваливающая будет, затопчут её в конце концов, дорожку поперёк проложив, а памятник – деревянная пирамидка. Не покрасят ни разу, не прополют. Низ отгниёт, он весь и завалится в бурьян лежать, зарастёт травой забвения. Некому за могилкой ходить будет, ох, некому! Если змеюка подколодная Ирма притащится когда на родительский день с дочкой от Макушки, но будто бы твоей родной сироткой, изображая вдовушку печальную, так им прямо в ухо-то как гаркну: «Пшли вон отсель, не вашенский я родитель!».

–Молчи, зараза!

Ирма перестала всхлипывать, а Клементовский напротив тоненько завизжал, изображая побитую в кровь собачонку, и подволакивая заднюю, будто парализованную ножонку, страстно от души проклиная род людской на все колена вперёд вплоть до конца света включительно, забился в адски чёрную подкроватную темноту.

В итоге Сёме пришлось идти спать на ирмину койку, куда она возвращаться отказывалась самым решительным образом, тем самым обменявшись с ней и половинками комнаты.

С утра пораньше, следуя поговорке: «Кто рано встаёт, тому бог даёт», даже чая не испив, отправился на биржу труда становиться на учёт.

Известная всем окраинная тропка вилась вниз по улице меж лужами, грязью, большими глыбами сломанного асфальта после какого-то давешнего позапрошлогоднего ремонта тротуара. Ныне по ней ежедневно с раннего утра устремлялось большое количество народа, будто прежние социалистические времена вернулись с демонстрациями. Или экологические, более живучие сравнения применяя, сие движение напоминало пусть не полноводную реку, но бурный горный ручей во всяком случае.

Дамы разодеты в пух прах. Среди них бодро двигались под горку бывшие бухгалтера, экономисты, делопроизводители, продавщицы и секретарши, офисные менеджеры, которые, несмотря на отсутствие работы, стремились поддерживать свой имидж на достойном уровне, дабы соответствовать требованиям редко объявляющихся вакансий.

Подтянутые и даже затянутые насколько возможно узко в поясе, будто хвастались друг перед дружкой талиями. Хотя, кто знает, весьма возможно у кого-то имеется под тем пояском трёхнедельная радость, а кто и двухмесячную хранит затаенно про себя улыбаясь будущему оплачиваемому декретному отпуску.

Работодателю о сём знать необязательно! Даже Егоров без участкового терапевта ни за что не определит срок самостоятельно, как не вглядывался подозрительно в каждую, а эксперт Клементовский или зашибся сильно при выпадении с четвёртого этажа или смертельно обиделся – на глаза не кажется. И слава богу! Хоть голова от него, дьявола, не болит!

Мужчины одеты большей частью по-рабочему, являя собою пролетарский арьергард с легким привкусом блатной нагловатости, а так же весьма ощутимым запахом вчерашнего возлияния.

Но с утра и женщины и мужчины двигались быстрым шагом, стараясь незаметно обогнать друг друга.

Хотя иные ранние пташки уже возвращались из бюро: тянулись в горку весьма неспешно, снисходительно поглядывая на спешащих вниз: куда торопятся? Нет там ничего, и быть не может.

В самом здании народ толпился у окошек в три длинных хвоста.

Семён дождался своей очереди, подал за стекло документы. Однако громкоголосая служащая сразу же возвратила их, направляя в кабинет №4, к столу №3.

Здесь строго блюлась собственная очередь по каждому столу отдельно.

Сёма спросил крайнего и встал у стенки. На деревянную лавку осторожно присел Клементовский. Там освободилось место. Он был молчалив, скромн, держался с удивительным благородством. Сёма пристально смотрел на него в упор, ища дьявольскую гордыню. Коридорная форточка был плотно закрыта и поставлена на сигнализацию, что впрочем ни в малейшей степени не являлось преградой для выкидывания на улицу призрака доктора-терапевта, в лучшие дни игравшего у себя дома на фортепьяно полонез Агинского и Лунную сонату Бетховена.

«Если не возражаете, я немного здесь посижу, отдохну», – объяснился доктор, чуя божественные размышления о форточке. «Сиди покуда, но если что, извини, – вылетишь сигнатурно!»

В очередь встала ещё одна безработная – многодетная бухгалтерша с выдающейся фигурой. Устала женщина, запыхалась, пока бежала, самое время отдохнуть, вот и рухнула на место, которое Клементовский еле успел освободить, вспорхнув с лавки битым воробьём, на которого с верхней ветки свалилась кошка.

Однако достоинства старой закваски не утерьял. Раскланялся с особой, занявшей его место, пробормотал: «Не стоит благодарности, нет, право не стоит, даже и не думайте меня благодарить», отошёл в угол, вежливо улыбаясь резиновой медлительной улыбкой, двигающей седую щетину на впалых щеках.

В жёлтостенном пластиковом коридоре под лестницей угарно-душно. Резко пахнет новым линолеумом и государственным евроремонтом на широкую ногу. Безработных граждан и гражданочек быстренько сморило. Вдохнув раз-другой обильных паров смол, они начали кивать носами, заводить глаза в подлобье, точно малолетние наркоманы, нюхавшие клей из надетых себе на голову полиэтиленовых пакетов.

Сёма подремал минут десять, затем ему приснился быстрый сон про именины, первые его именины в жизни, которые он помнил.

На самом деле то были не именины, а день рожденья, ему исполнилось четыре года, впрочем, он ещё не видел разницы. До этого к ним в квартиру никогда не являлось столько детей. А теперь комната вдруг наполнилась знакомыми Сёме детьми, по отдельности знакомыми, которые вдруг собрались все вместе у него в гостях, и даже принесли подарки. Ему казалось, что с утра вместо обычной жизни началась необыкновенная

сказка. Его распирало от гордости. Ни с того ни с сего, он вдруг сделался главным героем дня. Его выделили, поставили в центр круга, в то время как остальные дети, взявшись за руки, водили вокруг хоровод и пели:

Как на сёмины именины  
Испекли мы каравай,  
Вот такой вышины!  
Вот такой ширины!  
Каравай, каравай,  
Кого хочешь – выбирай!

– Мужчина, ваша очередь!

За столом №3 в качестве столоначальника располагалась обесцвеченная чиновница, имевшая на безработных характерный прищур знатока своего дела. Про таких говорят: «Знает человек жизнь». Реквизировав у Сёмы паспорт с трудовой книжкой и, требовательно потыкав клавиатуру компьютера пальцем, громко объявила, будто словила на каком-то недостойном занятии:

– О, числится голубчик!

– Умная какая! – ответил голос Клементовского из-под стола чиновницы.

Схватить надоедливый мираж оказалось не за что, Егоров хрустнул желваками.

– Да, – согласился он, – в прошлом году был у вас.

– А куда устроились? Почему не сообщили, надо было поставить в известность. Нехорошо, нехорошо поступаете, чистейшее свинство изволите проявлять. Мы с ним работаем, документацию оформляем, в отчётность включаем, а он вдруг исчез, точно в воду канул и ни ответа ни привета. А ведь обязан был уведомить о месте трудоустройства.

– Ты смотри: я ей обязан! Это вы обязаны искать мне работу, деньги за то получаете! – Клементовский нёс из-под стола отсебятину, надеясь остаться безнаказанным.

– Никуда не устроился. Надоело бегать по тем пустым адресам, которые мне распечатывали, вот и перестал приходить.

Чиновница возмутилась:

– Ишь ты, выискался какой, надоело ему. Мне, может, давно надоело тут с вами сидеть, что с того? Я же сижу, работаю. А зачем теперь явился?

– Сиделку не отсиди, человечича! С кем разговариваешь? С самим Богом Живым!

Сёма заметил край новенькой галоши, торчащий из-под стола, мысленно схватил её вместе с полупрозрачным Клементовским, сжал в кулаке, сунул в карман, и оттуда вознеслось:

– Молю Бога Живага, спаси и помилуй заблудшую душу!

– Теперь, говорят, у вас платят пособие.

– Для вас будет в размере минимальной заработной платы в месяц, начисление начнёт производиться только с дня, когда поставят на учёт. А до того времени, будьте добры, обойти за неделю десять организаций, возможно найдёте работу. Не найдёте – поставим на учёт.

Помните: вы не имеете права отказываться ни от какого из предложенных мест, каков бы ни был размер оплаты труда. Причина не устройства должна сообщаться письменно отделом кадров, к примеру, если они уже приняли человека. Идите. Да, ещё, шибко-то губу на пособие не раскатывайте, его выплачивают с задержкой в год, – хмурясь принялась тыкать пальцем клавишу принтера, у неё заело бумагу, пришлось вставать, идти, чертыхаясь за электронщиком, который и распечатал список организаций, где требуется младший технический персонал.

– Следующий!

Семён вышел вон.

Сбежавший из кармана Клементовский жалобно переминался у входа босиком, без галош.

Первым адресом в обходном листке значился театр, куда требовался пожарник с мизерным окладом в шестьсот рублей.

– Может, на троллейбусе прокатимся? Или на трамвае, с ветерком? Все окна откроем! – ожил Клементовский. – Мне, как пенсионеру, бесплатный проезд полагается согласно решению депутатов местного собрания номер триста сорок четыре.

– Хоть на самолёте лети, там знаешь какой ветерок?

– Неделикатно выражаетесь в отношении доброй памяти участкового терапевта. Когда хоронили, небось, наперебой клялись помнить вечно. Где уважение к сединам? Попрошу срочно проявить, я вашему папеньке лично морфий ставил, чтобы он не страдал, а вы тут что себе позволяете? И чистым кислородом из подушки давал дыхнуть перед смертью. Как он хрипел, бедняжка!

– Пешком идём, денег на трамвай нет.

– Боженька наш милосердный, молю: смени гнев на милость, верни галошки рабу твоему препокорному, век буду челом колотиться куда прикажете, коли сто лет просуществую в данном пространстве, вот те крест на пузо!

## 12.

**Дежурство Егорова в качестве театрального пожарного оканчивается гибелью зрительного зала, в результате чего Варсонофий**

**окончательно спился, всё лето провалявшись на мичуринском колодой между грядок.**

По летнему отпускному расписанию очаг культуры выглядел одинокой скалой в Аравийской пустыне.

Никто не восходил вверх, и не спускался вниз по грановитым ступеням. Афиши сообщали расписание московских гастролеров только на август. Скучающая кассирша пояснила из своего окошка, что по служебным делам нормальные люди заходят со служебного входа.

– Нам нужен пожарный прямо с сегодняшнего дня, – женщина-завхоз сёминоного возраста сощурилась на него в непритворной улыбке, – у нас вам будет хорошо. Вы образованный человек, я людей приличных сразу вижу, небось, институт окончили заочный?

– Приборный техникум, – застенчиво признался Сёма, – и очень давно, в каком году – не припомню даже.

– Замечательно! Значит с приборами сигнализации сами разберётесь. Срочно пишите заявление, директор у себя, подпишет, и можете начинать работать прямо с сегодняшнего дня. Сутки через трое. У нас чудесный коллектив. А какие спектакли играют! Вот погодите, приедут артисты из отпуска, жизнь сразу и начнётся!

Доктор Клементовский радостно сверкал стеклышками пенсне, мельтеша рядом с Семой по небольшому кабинету завхоза, потирая руки. Видно из завязтых театралов был в лучшие дни. Остановившись на фоне двери, завершивший жизненный путь терапевт принял поэтическую позу, развёл руки в стороны и начал: «Любите ли вы шоу? Я говорю, любите ли вы шоу, Семён, как люблю его я? Мы здесь такое представление устроим – чертям жарко станет! Знаете, Сёма, сколько здесь чертей и чертенок?»

Сёме, однако, не нравилась зарплата. Не оклад – один смех.

– И думать нечего, соглашайся быстрее, – крикнул участковый. – Чего думать-то? По нынешним временам весьма недурно.

«Э, да лучше всё равно ничего не найти, только подметки стопчешь», – Сёма быстренько написал заявление.

Директор театра глядел на окружающую его действительность безжизненными глазами. Казалось, человека только что прооперировали, причем не вполне удачно.

«Не ваш кадр?» – спросил бывший инвалид у терапевта-жмурика.

– Низкое давление, – зевнул Клементовский, – вкупе с истощением на фоне острой гормональной недостаточности. Женщины до добра не доведут.

Директор долго чертил на заявлении старательную каракулину, а завхоз пританцовывала рядом, не уставая наговаривать в ухо начальству про то, какой ценный Сёма кадр: по пожарной части нет ему равных, особенно в области приборов сигнализации.

Выглядела она довольнѐхонькой, объяснение чему открылось сразу, как только вышли в коридор из директорского кабинета и спустились по лестнице вниз к проходной.

– Меня сегодня из отпуска отозвали, чтобы я им пожарного срочно отыскала, вас мне бог послал. Вот вахтер, Надежда. Надежда, сдаю тебе нового пожарного Семѐна с рук на руки. Люби его и ублажай до самого утра, а мне в сад пора!

Клементовский вдруг нагло подмигнул Егорову.

– Варсонофию Илларионычу физкультпривет! – крикнул ей вдогонку Сѐма, – сегодня жарко будет, так морковку полоть не заставляйте, пусть в теньке отдохнет ради праздничка!

– Чего? – удивилась завхоз, оборачиваясь на ходу, и думая, что ей послышались собственные мысли в мужском исполнении.

– Варсонофию привет передавай, чего-чего, расчевокалась здесь! – взвизгнул на лету доктор, брыкаясь штанинами, и проносясь у самого уха сбегающей в отпуск завхоза.

Та расширила узкие глазки, однако новая пластиковая входная дверь уже готова была наподдать ей на прощание, посему резво скокнув вперѐд, завхоз помчалась на остановку.

«Надо срочно мотать на мичуринский, не то Варсонофий сейчас с кем-нибудь опять строит, и хрен тогда заставишь его морковку полоть от укропа. Укроп-то перестоял!»

На вид вахтеру Надежде куда ближе к пятидесяти, чем к сорока.

Опрятное ухоженное лицо, добротный маникюр на ногтях, брючный костюм, не новый, но достаточно приличного вида. В качестве украшения золотой кулончик на цепочке посверкивает на груди.

В общем и целом Надежда производила благоприятное впечатление скорее секретаря офиса, временно сосланного за какие-то незначительные дамские провинности в вахтеры на служебный вход.

– Значит, Семѐн? Редкое имя, – быстро глянула в переносье Егорову, чего-то там не нашла, и, приняв официальный вид, сообщила, – так, Сѐма, значит, будем работать в паре! Когда мне надо будет отойти на обед, ты меня подменяешь, – достала зеркальце и стала подкрашивать губы, – а вообще мне пока на напарников не везло. Не знаю, как с тобой получится. С той осени был студент Женька, неделями не появлялся, то друзей за себя присылал, то вообще его нет, потом пенсионера взяли, тот как настоящий пожарник не просыпался – всё время пил. Вот инструкция – почитай про свои обязанности, там много чего написано, даже слишком. Пишут, пишут, а чего пишут, сами не знают. Сигнализация толком не работает, на той неделе как зазвенит четвертый луч на пару с пятым, меня чуть кондрашка не чокнула, бегали, бегали – пожар искали, а никакого пожара. Отключили потом, сколько времени прошло, а чинить никто и не думает...

Выбежавшая откуда-то из-под стола маленькая собачонка испуганно облаяла Сему.

– Это наша Стружка, дежурить нам помогает. Стружка, не гавкай, а то он тебя кормить не будет.

Но Стружка не могла удержаться и гавкала, то на Егорова, то в сторону Клементовского, который сразу почувствовал себя неудобно.

Чтобы не раздражать своим присутствием сторожевую собачонку, Сёма пошел знакомиться с помещениями театра и со своим служебным постом дежурного пожарного, который размещался на втором этаже, где паркетный коридор застелен ковровой дорожкой. В одном ряду с кабинетом директора.

В коридоре пахло изысканным театральным-конфетным запахом, с еле уловимой добавкой духов, и хотя никаких красавиц-артисток и дам поблизости не наблюдалось, запах сей тревожил воображение образом прекрасной незнакомки, которая вот-вот явится из-за поворота ковровой дорожки и явление то станет началом чудесной сказочной истории.

Клементовский топал туда-сюда потрескивая паркетом, громко вдыхая тощей грудью, слезливо бурчал: «Эх, Феня, Феня, рвалась-рвалась к счастью, на осиновый кол нарвалась. Люди распроклятые виноваты. Сжечь всех на фиг, али наоборот, затопить для профилактики?».

За лакированной дверью обнаружилась комната-пожарка, нечто среднее между кочегаркой с какими-то огромными трубами и грязным свинарником с соответствующим запахом.

– М-да, – отреагировал недовольно Клементовский, – мы так не договаривались, вот уж... да, так да, ничего не скажешь Неужели согласитесь существовать в подобных антисанитарных условиях?

– Не нравится – проваливай куда хочешь, мне работу надо работать. Жена есть жена, а работа есть работа. И нечего нос воротить: театр, между прочим, культурное учреждение! Или, господин хороший, думаете, что театр начинается с вешалки? Заблуждаетесь, театр начинается с пожарного поста!

– Как вам будет угодно, – обидчиво заморгал Клементовский, – вы же наш Бог Живой, изначально непогрешимый, вам виднее. А мы что? Так себе, призраки, барабашки...

Сёма исследовал пульт пожарной сигнализации, прочёл журналы и техдокументацию. Большую часть помещения занимали сдвоенные трубы полуметрового диаметра, змеевики с огромными запорными вентилями, не позволявшими добраться до окон. По причине труднодоступности, окна явно не мылись со дня построения сооружения и были покрыты толстым слоем копоти.

Слева от двери, как на каком-нибудь колхозном току, находился красный дощатый щит с креплениями для огнетушителей, багров и ведер, но в отличие от колхозного, огнетушителей на нём не было – висели журналы с инструкциями и ещё несколько использованных берёзовых веников для парной.

Справа от двери возвышался сейф с открытой дверцей, из которого торчали грязные, скомканные, махровые полотенца, лавсановые трико с



лампасами, а сверху аккуратно стояла приставленная к стене обсиженная мухами картонная табличка с обгрызенным уголком: «Не курить».

Перед табличкой тарелка с доброй сотней окурков.

Сёма считал себя человеком привыкшим ко всему – в комнате отдыха грузчиков пахло отнюдь не ландышами, но в данном случае местная атмосфера содержала некий процент вони столь изощёрённого свойства, что за время пока листал журналы с инструкциями да на скорую руку разглядывал ящики с лампочками, его вдруг так лихо замутило, что пришлось срочно покинуть боевой пост, на котором, согласно инструкции, предполагалось несение круглосуточного дежурства.

Дабы развеяться и прийти в себя, вновь отправился в поход по тёмным этажам, местами совсем на ощупь, разыскивая выключатели и пожарные шкапчики на стенах, сопровождаемый незаметной в темноте Стружкой, которая принюхивалась и приглядывалась к нему, подозрительно скалясь: как бы новый гость чего не спёр.

Второй этаж со служебной стороны содержал кроме директорского кабинета большущий склад костюмов и комнату монтеров, вдоль стен располагались удобные мягкие диванчики, лишь отчасти замусоленные на углах и по краям, за ними валялись во множестве бутылки из-под бренди и виски.

На третьем этаже обнаружили гримёрные артистов и парикмахерская, с этого этажа можно было выходить прямо за кулисы, а так же на сцену. Четвёртый этаж содержал многометровой высоты зал, где творились декорации к постановкам, почётное место здесь занимали громадная статуя какого-то царя на троне и трёхэтажный штандарт «Лукойлу – семь лет», опиравшийся царю на ухо. На пятый этаж он не полез.

Вернулся к пожарной комнате, помялся на пороге, заходить не стал, присел в коридоре на один из диванчиков у дверей в монтерское служебное помещение. Клементовский уселся напротив. Стружка заскочила на третий диванчик и свернулась клубком как кошка. В пожарной комнате раздался звонок. Клементовский побледнел: «Возгорание! Квинтэссенция! Конец света! Боже мой, этого нам еще не хватало!» Засуетился по стариковски бросился на полусогнутых в дежурку, но сморщился, выскочил обратно в коридор, зажав нос.

Егоров снял трубку с телефонного аппарата. Вахтерша просила срочно спуститься в фойе театра, где замдиректора по общим вопросам обнаружила валявшуюся на полу стереоколонку. На лестнице в темноте первого этажа, почти наткнулся у выхода на плохо заметную во мраке маленькую женщину в тёмном вечернем платье, тотчас спросившую, повелительно указав на здоровенную концертную колонку, валявшуюся на паркете:

– Откуда это здесь?

– Не фигу себе, вопросыки, – удивился Клементовский, – мы вам, небось, пожарные, отличники боевого тушения и политической подготовки, а не следователи прокуратуры.

– Учтите, – известила женщина в траурном платье, виденная до того в окошечке кассы, – вынос любого предмета из театра допускается лишь по специальному пропуску установленной формы. Берите и несите за мной.

– Какая талия! – Клементовский обошёл начальницу со всех сторон, восторженно вдыхая аромат, – наверное, из кисок-актрисок. Актрисуль я люблю! Ой, какое шоу Лола на крыше каждый божий день показывала! Шоу я тоже очень люблю. А скоро и настоящие артистки приедут, молодые, утренние, не то что эта Барбара Стрейзен с носом, вот где пойдёт дым коромыслом! Работайте, Сёма, работайте! Наслаждаться будем после.

Затащив колонку следом за стреляющими каблучками в кабинет, отделанный согласно последнего слова европейской моды, то есть не приведи господи опереться на угол – вся стенка гипсокартонная может покорёжиться да лопнуть, Сёма опустил груз, куда указал отлично маникюрный палец, после чего вернулся на вахту.

Любопытная Надежда забросала его вопросами.

– Прямо на полу колонка лежала?

– Да.

– Прямо в фойе?

– Недалеко от входа. Там света нет, ничего не видно, можно запнуться.

– Радисты забыли. Они по вечерам ездят халтурить на свадьбы или в ресторан куда позовут, о, вот и главный режиссёр идёт. Запомни его, он с нашим братом не здороваются.

Тотчас в двери вошел человек лет тридцати пяти с модной седой щетиной на впалых щеках и острым взглядом, режущим всех встречных на куски. И щетиной и враждебным взглядом главный режиссер напоминал молодого симпатичного бомжа, нежданно-негаданно попавшего на содержание к состоятельной леди, отмытого лучшими шампунями, надушенного туалетной водой, переодетого в щеголеватый летний костюм, непривычно солидные импортные туфли, но с ужасно больной после месячного запоя головой. С глазами полными творческой муки и ненависти к толпе, главреж устремился вверх по лестнице.

– Экий молодчик, – подал голос Клементовский, – ставлю сто против одного: его сегодня Муза не посетила. Или посетили, но сразу две. Изначально переработав на работу явился.

– Директор тоже ещё года не работает, первое время таким вежливым себя выказывал. Идёт, бывало, мимо с утра: «Здравствуйте, как дела?», уходит вечером: «До свидания, счастливо отдежурить». Теперь словно воды в рот набрал, а до того палку проглотил: морду сделает кирпичём – и чешет!

– Освоился с директорством человек, – высказал предположение Сёма, – раньше, значит, он себя ещё как бы не в своей тарелке ощущал, как я сегодня.

– Сейчас у меня чайник вскипит, будем пить кофе, – патетически произнесла Надежда, – а вот и Юра, наш столяр. Вовремя, Юра, у меня сейчас кофе будет готово. Что-то сегодня и не подходишь, не иначе загордился.

Крепко сбитый Юра с нетрезвыми чёрно-маслянистыми глазами, не сразу поймал в фокус вахтёршу, ему пришлось несколько повозиться с наводкой зрачков.

– А.. это ты сегодня дежуришь, а я в отпуске, пришёл... кой – чего сделать, а ... это кто?

– Это наш новый пожарник, – Надежда скромно потупилась, – будет со мной в паре работать.

– А тот... прежний... чего?

– Ушёл.

Она оправила пиджак и переступая ногами, словно делала это первый раз в жизни, ушла в вахтерскую, заваривать кофе. Столяр осмотрел вахтершу откровенно радостным взором, постепенно приходя в полный иступления восторг. Уже взмахнул головой, мечтая лететь следом, но уяснив, что Сёма тоже двинулся в вахтёрку пить чай, затоптался на месте. Совместное мероприятие на троих пришлось ему не по вкусу, он надулся.

– У меня свой чайник имеется, между прочим, если уж на то пошло, – крикнул громко, после чего старательно примерившись, шагнул и попал-таки в проём новых пластиковых дверей, ведущих в коридор по направлению к столярке.

– Как хотите, – ответила Надежда с язвительной усмешкой, – была бы честь предложена, – и тут же ласково глянула на Сёму.

Пить кофе Юра так и не пришел. Из столярки доносился ожесточённый визг циркульной пилы.

– Отчего у нас на пожарном посту запах такой? Аж дыхание перехватывает?

– Трубы имеются открытые в системе, разве не заметил? Когда пожарники посуду грязную ополаскивают, в них воду сливают, неохота до туалета тащить.

– Помой в пожарной трубе?

– Во всей театральной системе противопожарной! Прошлой осенью от окурка материал затлел, произошло задымление, ночью никто не видел, а сигнализация автоматически сработала, и вся та вода, которая храниться в больших баках над сценой и зрительским залом вылилась в один момент. Мебель испортилась, кресла, а потом та вода в подвал стекла, где механика и электрика находится. Замыкание произошло. Электрики полезли днём ремонтировать в подвал, – а там целое озеро стоит. Вонючее. Делов было, ругани!

Да, кстати, нашёлся хозяин колонки. Радист ночью из ресторана возвращался, где они подрабатывают, сил не хватило до места дотащить, в фойе бросил. На карачках до своей радиорубки полз. Сейчас только очухался после вчерашнего, бегал, искал пропажу. Вот пьют, а? Я раньше думала, что в торговле больше всего пьют – нет, оказывается, в театре куда сильнее хлещут. Посиди с полчаса за меня, пойду, схожу в столярку к Юрке, чай попью с ним, а то ведь приревновал к тебе, слышь, как бесится – ревнует. Из

отпуска прибежал, вот пилит, вот пилит, театр пополам распилит, пойду успокаивать.

Через полчаса вернулась тихая, поглядела на Сему пустыми зрачками, будто отсутствовала так долго, что забыла, кто он такой и зачем сидит на её рабочем месте.

Сёма вновь отправился патрулировать этажи. Согласно противопожарной инструкции, театр следовало обходить каждый час, ища непотушенные окурки и прочие объекты возгорания.

Стружка следовала за ним, как привязанная.

Летний театр глух и пустынен. Лишь где-то совсем рядом громко разговаривали двое поддатых мужчин. Сёма решил контролировать ситуацию на пожароопасность, не без облегчения расставшись с тошнотворным постом, вышел в коридор, на ковровую театральную дорожку в мир благопристойных запахов.

«Вот будет дело, коли все помои, что в системе находятся, прольются на зрительный зал во время спектакля! Неизвестно, что хуже: сгореть заживо или захлебнуться подобным дерьмом».

При упоминании об очистительном пламени Клементовский глубочайшим образом вздохнул и понурился.

Разговор неизвестных граждан вёлся в директорском кабинете.

– Я, конечно, человек новый в театральном деле, – произнёс несомненно директор, и в плавном течении его голоса уже чувствовалось грамм сто пятьдесят водочки без нормальной закуси под купленный пирожок с кисловатым творогом, – но полагаю так, чтобы одну неделю в местных изданиях должен выходить крупный материал о театре, скажем в исторической ретроспективе, другую неделю о режиссуре, третью о руководителе театра, о спектаклях, об актёрах, методично, шаг за шагом необходимо, чтобы одни с нами знакомились, другие помнили... раз в месяц минимум... минимум пробиваться в центральную прессу, под прессой понимаю весь спектр СМИ: телевидение, радио, газеты и журналы, в том числе солидные театральные издания России и может быть мировые. Почему бы, в конце концов, и нет?

– Ни почему! Да, да и ещё двести раз да! Без известности никто ничего в нашем мире не добивался, – поддержал главреж, бодренько позвякивая горлышком по краям невидимой посуды.

– Жизнь идёт, – философствовал Клементовский, проносясь летучим голландцем под потолком коридора, – обычная, человеческая. Разве это шоу? Связь пожилой вахтёрши с пьяным столяром? И скучно и грустно и некому морду набить в минуту душевной невзгоды!

В столярке стихли звуки пилы.

– Что, Юра покинул нас? – Сёма присел на стул против стола вахтерши.

– Ушёл.

Разложив перед собой бумаги, Надежда писала красивым почерком, как она коротко заметила, пояснительную записку в суд, который тянулся

уже чуть ли не год. Сёме сделалось понятно, отчего работник торговли трудится вахтёром.

– Никогда мы уже, наверное, не выберемся из этой ямы, – молвила она сочувственным голосом, явно имея в виду себя и Сёму, – те, которые помоложе, ещё может и поднимутся, а кому под пятьдесят вряд ли, – глянула требовательно, ожидая поддержки.

Участковый терапевт радостно поддакнул:

– Ой, и не говорите, матушка моя, не жисть – слёзы горькия!

– Вот у нас с мужем была трёхкомнатная квартира, дача, машина «Волга». Я при социализме работала в торговле. В квартире – всё, чего душенька пожелает. Казалось бы, что ещё надо? Но человеку мало, захотели мы жить в отдельном коттедже двухэтажном, кирпичном, продали квартиру с гаражом и машиной, но там, где хотели взять дом, покупка сорвалась...

– Люди они такие завидующие, за ними глаз да глаз! – брякнул Клементовский ни к селу, ни к городу, однако Надежда кивнула и продолжила:

– ...положил супруг деньги на сберкнижку «под проценты», взяли временную развалюху на Черемошках, пока не подыщем чего стоящего. Говорила ему русским языком, давай какой-никакой недвижимости накупим на те деньги, лучше бы несколько гаражей да погребов купили и то сохранили своё.

А он: «Нет, положу на книжку. Пусть проценты идут». Далась ему эти проценты. Умник. А тут реформа – трах!!! и одешевила наши рубли, так во временном домике на Черемошках и остались. Теперь уж навсегда. Не выбраться, ох, не выбраться, – повторила она. – Через год ровно муж заболел и умер.

Совсем плохой лежал, я ему книжки его бесценные показываю: с чем ты нас оставляешь, хоть понял теперь? Что, накопил процентов, дурак ты этакий? В копейки те сбережения превратились, и копейки эти государство не отдаёт. Лежит, морду воротит! Ну, скажите, люди добрые, разве не дурак, если сберкассе государственной всё доверил, а? Разве умный? Лежит бревном – ничего ему, видите ли, не надо уже. Рукой машет: «Отстань, мне ничего не надо». А ничего и нет! Представился и доволен! А мне жить на болотистых Черемошках среди безалаберных пьянчуг, бомжей да наркоманов до скончания века. Рядом сваи под новый дом забили – враз огород затопило. Второй год вода не уходит, стоит, зацвела, сначала ряской подернулась, теперь и вовсе осока выросла, – нет огорода. Погреб затопило – погреба нет, туалет затопило – совсем жизнь кончилась. Хоть откачивай, хоть не откачивай – бесполезно.

Ходи по инстанциям – жалуйся, письма пиши. А он – раз и в ящик сыграл, сбежал, подонок такой. Нет, слишком поздно я поняла, что бывают люди дураки, которые до поры, до времени скрывают свою глупость. Ведь не малый срок – пятнадцать лет с ним прожила бок о бок и не догадывалась, каков он есть, муженек-то мой!

Прямо в морду ему книжками сберегательными: на тебе! Н-нна!! Получай, накопления свои бумажные, дрянь, паршивец безрассудный! Ты околеешь через неделю, а мне ещё долго мучиться предстоит. Как в воду глядела, дня через четыре окочурился, рак его доел, – а я до сих пор уже восемь лет в гнилушке этой маюсь да ещё здесь вот сижу, невесть кого караюлю.

Вдруг Клементовский безбоязненно рухнул плашмя во весь рост затылком об пол трупом, сцепил костлявые пальцы на впалой груди, в коих тотчас возгорелась тоненькая восковая свечка. Лицо его посинело, исхудало, приняв черты Сёме неизвестные, заприметив которые вахтерша так лихо рванулась из кресла, что добротный костюм затрещал по швам.

– Надежда, деньги где? – раздался потусторонний бас, словно голос принесло сквозняком из подвала. – Ты почему меня перед смертью хлестала по мордам? А ну, давай сюда сберкнижку! Где мои сберкнижки? Расстратила?

– Где? – переспросила вахтерша, округлив от ужаса глаза.

– Куда дела?

– Куда? – по-сумасшедшему заинтересовалась супруга.

– Промотала деньги, вертихвостка? С Юркой доски пилишь на пару? Поди сюда, жена неверная! Суд буду вершить скорый и правый, в ад пойдёшь на поселение!

Лампы дневного света испуганно заморгали, не желая видеть предсмертного ужаса. Раздался утробный стон, – то внутри пожарной водяной системы началось брожение, выделяющее газы. Не хватало маленькой струйки дыма, чтобы тонны мерзкой протухшей кислятины рухнули на зрительный зал.

– Не пора ли нам покурить? – весело спросил главреж, сидя в кабинете директора, и сам ответил, – давно пора! А где моя зажигалка? За кулисами осталась! У вас зажигалки нет?

– Не курю, – отвечал директор, глядя на хрустальную слезу недопитой водки. – Я, кажется, готов. Значит, пора домой.

– Дурак, – раздался таинственный голос из-за спины главрежа, – зажигалка у тебя в левом кармане!

Тот даже оборачиваться не стал, так обрадовался.

– Точно, в левом! – щёлкнул, закурил, дымок пополз вверх, к датчику пожарной сигнализации. – Эх, хорошо-то как, братцы мои, жить!

Директор встал, пошатываясь тронулся на выход.

Отключенная звуковая сигнализация не сработала, но по закону подлости, зафункционировала пожаротушительная в зрительном зале, и рухнула с потолка мутная жижа, месяцами бродившая в системе, затопив собою паркетный пол, ковровые дорожки и мягкие кресла.

Пьяный радист высунулся из рубки в окошечко, увидел в темноте залитое дождём пространство зрительного зала и даже рассмеялся от неожиданности:

– Померещится же такое! Слышь, – погладил он молодую артистку Олесю, – там за бортом чернота, внизу – вода, волны, а мы с тобой будто на «Титанике» тонем. Давай встанем, руки в стороны разведём и так постоим вместе.

– Выдумщик ты у меня, – сказала Олеся, – за то и люблю.

Покойник-муж, лежавший в фойе у служебного входа, поднялся не открывая глаз в моргающей темноте, и скрипя подгнившими членами, освещая путь свечкой, тяжело двинулся на встречу с вдовой. Не песок из него сыпался, ошмётки синей глины звучно шлёпались об пол.

Стружка с визгом бросилась под стол, но Надежда не собиралась так рано в ад на поселение, неожиданно резво выпрыгнула из кресла и в коридор: «Юра, Юрочка, ой, помоги!». Дёрнула запертую дверь столярки да прямым ходом кинулась в душ, закрылась там изнутри крепко-накрепко.

Покойник задул свечу, поправил пенсне.

– Вот это я понимаю, шоу! А то Бернар-шоу, Бернар-шоу, исхвастались вдребезги, дешёвки полоротые! Ага, вонуча директор с главрежем прутся, Сёма, приготовиться, акт второй!

– Поглядите за машиной! – бросил походя режиссёр, как всегда, не глядя на вахтерское место, в котором, развалясь, нынче восседал Клементовский, чрезмерно обросший шерстью, исхудавший, будто Кабысдох в худшие зимние дни.

Определённо пес, хотя на морде вроде поблёскивало пенсне, через которое он важно зыркал то в экран маленького телевизора, то на редких прохожих за оградой театра. Недовольно махнул лапой:

– Поглядим, поглядим, идите с богом и ничего не бойтесь! Кирдык вашей машине ночью будет! Сожгут её!

– Кто? – машинально спросил главреж, по-прежнему гордо хмурясь, в упор не желая замечать нижний технический персонал.

– Кто-кто, есть, значица, людишки! Комов Слава и дружок его по кличке Тузик-Беспредельщик. Как я понимаю, дело будет так: сломают, гады, замок водительской двери, снимут чехлы в салоне, магнитолу прямо с проводами вырвут, потом капот вскроют, аккумулятор тиснут, дальше из багажника запаску сопрут, да остальное по мелочи, а уж как на все четыре колеса разуют, то сразу, чтобы следов не оставлять, спичку в бензобак и подпалят, сволочи! Так вот оно бывает, на неохраняемых объектах, когда вахтёрша в театральной помывочной оплакивает покойного мужа, которого шибко сильно била по мордам сберкнижкой перед смертью!

Директор посмотрел на вахтерское кресло, вдруг схватился за сердце и завёл глаза кверху.

– Прижало? – ослабил наглый пес, фальшиво соболезнуя, – а сколько можно организм переутомлять? Оно, конечно, местами приятно бывает, не спорю, но ведь без режима дуба дать можно от удовольствия в вашем преклонном возрасте. Они же артистки, ядрёна корень, им чего сделается? А вы не клон, за ночь восстанавливаться не умеете, и не бог даже, как Сёма наш.

Сёма, Бог ты наш Живой, причесался бы что ли, патлы встали дыбом. Хоть и бог, а всё одно человек, в поте хлеб свой зарабатывать должен. И как человек, от блондинки Ирмы мелом отчертился, знать чужого греха страшится.

В то время как ты, директор, своего личного не стесняешься, знать, в доску наш субъект, шоумен! Эх, заразить, что ли, по-быстрому клон-структурой, эксперимента ради? Люблю эксперименты над человекообразными производить! Минутку! Айн моментус!

Псина спрыгнула с кресла, подбежала к верховным театральным жрецам. Слюни тянулись, как у бешеной.

– Не бойтесь – это наша Стружка! – вскричал диким голосом главреж, когда директор спрятался за него. – Она даже в спектакле одном играла: «Прощание с Матёрой», но шибко на сцене гадила и её уволили без выходного пособия.

– Матёрую уволили? А почему в театре? Кто запустил? Где вахтёр?

– Пошла в душ мужа оплакивать, – верноподданно доложил Сёма, – одна одинёшенька. Горюет невероятно.

– У неё муж умер?

– Совершенно верно, в трудных жилищных условиях. Восемь лет назад. Женская трагедия.

– Опять поди, с Юркой? – зло скривился главреж, который хоть и не здоровался с младшим техническим персоналом, но был информирован о мельчайших подробностях их интимного существования.

– Кто такой Юра, почему не знаю? – директор прикрыл глаза, чтобы не мерещилось чёрт знает что.

– Столяр наш. Мыться с ней любит.

– Уволить!

– Кого, вахтёршу или столяра?

– Обоих.

– Лучше его увольте, – твякнула псина снова забравшись в кресло, указывая на Сёму, – он не желает в театре пожарником работать, говорит, что здесь помоями воняет! И вообще про очаг культуры нецензурно выражается! Разве можно такое позволять?

– Завтра всех уволю, – пообещал директор, – весь списочный состав без исключения. Всем покажу кузькину мать! Ой, кажется у меня белая горячка началась.

– Я тоже как-то болел, – непонятно чему обрадовался главреж, – как сейчас помню. Что характерно, черти исключительно через кухонную форточку в квартиру лезли.

– Давай, уйдём тихо?

– Давай.

И директор с главрежем ушли.

– Клементовский, я сошёл с ума?

– Ты? Да брось переживать по пустякам. Божественный человек Сёма с ума сойти в принципе не может. Только с моей профессиональной помощью.



Признаюсь честно, как на духу, люблю вашему брату помогать с ума пятиться. Раньше только этим в основном и занимался. Пачками, пачками людишки безумствовали под моим чутким руководством. Мотаем отсюда?

– А кто на вахте останется?

– Чего здесь караулить, ядрёна вошь? Надежда закрылась прочно, авось не сопрут. Мебель вся в помоях, да и Стружка на посту. Стружка, сидеть!

И они тоже ушли.

Несчастливая, брошенная всеми вахтерша прорыдала в театральной помывочной до самого утра. Вроде бы по мужу, но кто её знает, женщину?

Утром написала заявление на увольнение согласно собственного желания, директор подмахнул слегка дрожащей рукой. У него жутко болела голова. Вчера в пьяном виде чёрт знает с чего, вдруг решили с главрежем ехать домой на его машине, естественно разбились вдребезги, хорошо хоть сами живы остались, даже без царапин обошлось.

За первый час трудового дня директор выпил графин холодной воды из-под крана, и пил бы дальше, коли срочно вызванная из отпуска завхоз не притащила на своём горбу в кабинет ящик минералки.

Про катастрофу в зрительном зале стало известно лишь к вечеру.

– Ну, пропал урожай! – всплеснула руками завхоз, входя в зал. – И Варсонофий вконец сопьётся на мичуринском, будет теперь колодой меж грядок валяться! Какая же это подлюка опять в театре дымила?

И понесла, и понесла...

Далеко – далеко, в своём кабинете на втором этаже, злой на весь прочий мир главреж стаканами хлестал директорскую минералку, однако никак не мог избавиться от чудовищной икоты.

### 13.

**Гроссмейстер Егоров проигрывает партию и отказывается играть на пиво. Секундант получает «хорошо». У ассистента Лавочкина вновь дёргается веко.**

Ночью Макс спал всего три часа, зато с утра вошел в раж – ничего и никого уже не боялся. На экзамен отправился в послеобеденное время, когда профессор устал и выдохся, студенты для него все на одно лицо, авось проскочу или вообще пойду Лавочкину отвечать!

Перед дверью кафедры увидел девицу в самой короткой юбочке на факультете, а может и во всём университете, по имени Снежана. Она медленно прохаживалась туда-сюда по коридору, прижав к груди учебник, и шепча, как молитву определения.

Красная плиссированная юбка медленными движениями колыхалась вокруг бёдер, напоминая облизывающиеся губы. Ноги тоже самые стройные и красивые на всем факультете.

«Куда на этот раз спрятала шпоры? – заинтересовался Макс, оглядывая тонюсенькие босоножки на высоком каблуке. – В зимнюю сессию прятала за голенищами сапог, а теперь?».

Увидев Макса, девушка резко вздёрнула голову, отвела в сторону, брови подскочили вверх, а глаза опустила вниз, в угол.

– Драгоценная Снежана, позвольте принести поздравления с предстоящим торжеством! – в качестве старого друга нежно приобнял, прижал к себе, однако хорошо законспирированные шпоры даже не зашуршали. – Поздравляю! Желая большого семейного счастья!

Поцеловал в щёчку и выпустил на волю. Состоялось самое короткое в истории их взаимоотношений объятие. Перекрестил даже:

– Благославляю, дочь моя!

– Криницын в своём репертуаре.

Быстренько сдав зачетку и получив билет, Макс как можно незаметнее скользнул на свободное место. Один вопрос учил. Значит, можно бороться за тройку. Как говорить: не до жиру, быть бы живу.

Щур не обратил на вновь прибывших ни малейшего внимания, слушая ответ Фёдора Ивановича, говорившего деревянным голосом. Минуты три послушал, выгнал, даже дополнительных вопросов задавать не стал. Надо идти к Лавочкину, там больше шансов выжить.

По лицу профессора отчётливо видно, насколько тот недоволен группой, которая во время всего прошлого семестра отличалась плохой посещаемостью лекций и ещё худшей успеваемостью.

Хмуро оглядел всех, остановился на Криницыне, лицо которого показалось профессору неприятно знакомым.

– Идите отвечать.

– Я ещё не готов.

– Устно расскажите. Что у вас там?

– У меня, профессор, память моторная. Я вспоминаю, когда пишу, а так, с лёта плохо получается.

– Моторная говорите? Любопытно, весьма. А объясните в таком случае, почему перед экзаменом по шахматным клубам ходите, гроссмейстеров из себя изображаете с секундантами, а потом бегаετε, как зайцы? Где ваш приятель, так называемый гроссмейстер Егоров?

– Он не гроссмейстер, мы просто пошутили.

– Хороши шуточки, однако же настала пора в них разобраться. Которая здесь ваша зачетка? Пусть лежит отдельно, а вы идите, голубчик, идите, и без шутника-приятеля не возвращайтесь. Чего стоим столбом? У вас не так много времени. Следующий...

В совершенной растерянности Макс вышел в коридор, здесь произвёл на месте сложный пируэт внебалетного происхождения и кинулся бежать вниз по скользкой мраморной лестнице, нисколько не притормаживая на поворотах, искать Егорова.

Времени отпущено немного.

Раз надо найти Егорова, он найдёт его, хоть на базе Упрснаба. Сказано-сделано, нашёл, потащил за собой:

– Идём быстрее, я прямо с экзамена к тебе прибежал, профессор Щур, скотина такая, меня узнал сегодня и тебя требует к себе.

– Зачем?

– А я почём знаю? В шахматы, наверное, сыгрануть хочет, раззадорил ты его. Сыграй с ним на деньги, пусть раскошелится. За все наши мучения. Пойдём, а? Или я вконец погорел.

Щур явно их поджидал, специально затягивая время экзамена, давил и давил последних экзаменуемых дополнительными заданиями, точно барин крестьян оброком. Бедняги изнемогали под немилосердным прессом. Вместо лиц заоченели маски цвета посмертного гипса.

– Учти, брат Сёма, моя судьба в твоих руках, – шепнул Макс Егорову.

Чувствуя сильную головную боль, экс - гроссмейстер протиснулся боком на кафедру. Глаза ломило изнутри: так и есть, в углу под портретом бородатого учёного мужа с важным видом восседал доктор Клементовский, наголо бритый и опрятный, словно новоизбранный заведующий кафедрой, заранее предвкушающий кому из коллег он будет устраивать баню с припарком в течении пяти грядущих лет руководства.

Лавочкин покосился на вошедших без приглашения, ничего не сказал, только сделал вид, что ему ни до чего нет никакого дела, кроме как до того, о чём нервно шепчет ему Катя Шорохова, вся малиново-рдеющая и пышущая здоровым жаром от напряжённой умственной деятельности.

– Верное понимание вопроса, – смилостливился, открывая голубые корочки зачетной книжки маленькими пальчиками и пробегая глазами предыдущие отметки. – Хотелось бы узнать вот ещё что, – поднял взор на Катю, но вид белых пятен распространившихся со щёк на лоб привел его в замешательство. – Впрочем нет, и так вполне достаточно, – быстро написал «отлично», сжимаясь на стуле до величины совсем малой, явно опасаясь как бы осчастливленная Шорохова не набросилась, и не зацеловала в порыве истовой благодарности.

Профессор быстро распустил экзаменуемых, наставив отметок куда худших, чем ассистент, кое-кто, вроде Снежаны, был выставлен вон до следующей пересдачи.

– Гроссмейстер Егоров пожаловал, собственной персоной, – представил он Сёму Лавочкину, который кивнул носом в знак уважения, как всегда на полном серьезе.

По слабости здоровья Лавочкин не любил иронизировать над людьми, даже студентами.

– А не сыграть ли нам гроссмейстер ещё партийку?

Макса как бы случайно сложил на груди руки, переплёл пальцы и выразительно хрустнул, просительно уставившись на белый плафон под потолком.

– Почему нет? – хихикнул Клементовский из своего угла, постучал по столу, – с превеликим удовольствием.

– Я рад, что вы так запросто согласились, – ухмыльнулся Щур, – а то знаете, особы вашего рейтинга ведут себя весьма капризно. Товарищ Лавочкин, достаньте нам доску, пожалуйста.

Профессор легко выиграл первую партию.

– Странно, батенька мой, очень странно. Помнится, в прошлый раз вы действовали много сильнее.

И посмотрел на Лавочкина со значением, как на важного свидетеля происходящего, интересуясь его мнением. Ассистент отмолчался в своей обычной манере, сосредоточив взгляд на кончике собственного носа, выдававшего в нём внебрачного потомка Николая Васильевича Гоголя по итальянской линии.

– Раз на раз не приходится, – несколько не огорчённый произошедшим с ним казусом согласился Егоров, – значит сегодня не в ударе, вчера так чего-то сильно пива захотелось, дай думаю, подзаработаю маленько. Сыгранём ещё партию?

– Можно на пару пива сыграть, – предложил Щур.

– Сегодня пива не хочется. Не в настроении что-то. Так сыграем, просто. А на студента не сердчайте, я его просил свести меня с профессором для научных занятий, а он сказал, что знает только одного профессора – доктора, вас. Даже книжку вашу дал почитать, учебник.

– Ну и как?

– Умеете сложно говорить о простых вещах, – выговорил Егоров усмехаясь снисходительно. – Ничего не понял, но прочёл с огромным удовольствием. Спасибо.

– М-да? Вы, случаем, в свободное от работы время дифференциальное исчисление по новой не открываете? Говорят, встречаются подобные чудачки даже в наше время.

Со своего места поднялся Клементовский. Вздымая морщинистой щекой пенсне, принялся невежливо разглядывать голову профессора с близкого расстояния, словно недоделанную скульптуру, подслеповато при этом щурясь и бубня под нос: «Ещё кафедра называется, цитадель науки, а освещение ни к черту!». Следом тихонечко пропищал: «Сашенька, ластонька, бутербродик с маслицем будешь? И сахарком посыплем-посыплем сверху?».

Профессор подскочил грузным телом на стуле:

– Что? Кто это шутит? Оставьте свои... замашки.

Спокойно наблюдавший дебютное развитие Лавочкин непонимающе заморгал на Щура. Положение на доске определено в нашу пользу, к чему лишний шум?

Клементовский смиренно кивнул, вернулся на прежнее место в угол. Но там, лихо развернувшись на каблуках с венгерскими подковками, еще более тоненько возопил: «И чай давно заварен, Сашуля, мальчик мой, к столу сейчас же!»

Профессор совершенно утерять интерес к шахматам, сгорбился, закрыл уши ладонями.

– Давайте отпустим студента? – Егоров пристально разглядывал кафедральный портрет Римана, – он не мой секундант, да я и не гроссмейстер. Всего-навсего безработный, состою на учёте в бюро по трудоустройству, ищу работу сторожа да никто не берёт. Представляете? Возраст неподходящий и с головой слегка не в порядке: то оглохну, то ослепну.

– Но вы изумительно играли, – кривясь наглой улыбкой, выдавил из себя Щур.

– Пивка захотелось, просто жуть. Вынь да положь, как говорится в таких случаях, вот к вам и заглянул на огонёк. Раз на раз не приходится. Лично я полагаю, что сегодня играю точно так же хорошо, как и вчера. А студент совсем не причём, по моей просьбе сопровождал за полторы порции пельменей, голодный был очень, деньги у него закончились. Если не сдаст вам, и следующие полгода голодовать придётся, в тридцать лет язва откроется, в сорок с небольшим скovyрнётся на тот свет, как вон тот ваш гений Риман. Что, скажете – судьба? Чёрта с два, питание – главное. Ну, нашло, нашло на меня свыше, только не говорите, что с вами такого не бывает. Такое со всеми бывает. Согласны?

– Согласен, – хрипло подтвердил профессор, беря зачётку и выводя в ней «хорошо».

Не веря своим глазам, Макс три раза сказал «до свидания» и, после чего выпорхнул с кафедры, словно бабочка из рук энтомолога, наострившегося уже насадить экземпляр на булавку.

Егоров встал:

– Сдаюсь, профессор, – и уронил свою королеву.

– Погодите, – хрипло простонал Щур, – скажите, ведь вам известно, где её могила? Можете мне сказать?

– Чья могила? – хмурясь на застывшего Лавочкина, удивился Егоров.

– Матери. Только не говорите, что не знаете, я уверен: вам всё известно. Она умерла в 44-ом, а меня демобилизовали в 46-ом, соседи не смогли показать места на кладбище. Деревянные кресты и памятники в войну растащили на дрова. У неё была деревянная пирамидка. Я чувствую, вы знаете. Это на Южном кладбище, рядом с железнодорожными дачами.

– Профессор, вы хоть немного-то головой думайте, когда такие вещи вслух произносите. Я родился после войны, откуда мне знать, где похоронена ваша матушка, тем более, что и памятника со времён войны нет? Чепуха, ей богу.

Ещё раз поглядел в зрачки бородатому Риману, кивнул ему, знакомому из Клонгрейва.

– Однако же, выбросьте, из голову безымянную могилку под амурской черемухой, что нашли три года назад, и на которой собираетесь установить памятник за девять тысяч рублей из чёрного мрамора. В ней захоронена не ваша матушка, а воспитанница Минской женской гимназии, она же дочь коллежского советника Семёна Сапицкого и жена мирового судьи Александра Островского, она же конторщица Пароходно-

Автомобильного Отдела переселенческого Района, она же мать Сергея Островского краснофлотца 4 роты, служившего на линейном корабле «Марат» в Крондштате, там же и погибшего, а во втором браке супруга министра здравоохранения Бухарской республики Седмиградского, она же Островская Лидия Семёновна, заведующая Сафроновской начальной школы, а до этого заведующая Лоскутовской начальной школы, а после учительница начальных классов села Большое Протопопово. Оставьте, Христа ради, в покое безымянную могилку учительши, которая в скором времени, наконец сравняется с землей, обретя долгожданный мир и покой.

Выразившись столь недвусмысленным образом, Егоров тихо вышел с кафедры, а профессор долго ещё сидел в глубочайшей задумчивости над легко выигранной партией, что само по себе напоминало гипнотический транс.

У Лавочкина дёргалось веко с периодичностью две с половиной секунды, – возобновился вроде бы успешно пролеченный нервный тик.

– Зря деньги извели, голубчик, – рявкнул мимоходом доктор Клементовский, – не верю я в эти реабилитации и вам не советую пользоваться. Лечиться надо, лечиться серьезно, долго и упорно, а не дурака валять трёхразовым питанием да разными дешёвыми проце-дурами. Полноте, разве я жесток? Нисколько. Нисколечко. Чистейшее святое милосердие вам наглядно демонстрирую, а ещё определённое выражаясь, так просто бисер мечу.

## 14.

**Пропажи палки и ведра. Мать Сёмы узнаёт о будущем внуке и радуется.**

Сёма возвращался с очередных поисков работы, зашёл навестить мать, а там несчастье.

– Ой, сынок, какое горе! Палку мою украли с ведром прямо возле квартиры. Пошла в погреб с ведром воду собрать со стен, совсем погреб отсырел, электрик Сенькин запил, некому включить вентиляцию. А тряпку позабыла взять. Ведро с палкой у двери оставила, квартиру снова открыла, зашла за тряпкой, выхожу через минуту – ни костыля, ни ведра, будто корова языком слизнула, вот на секундочку нельзя ничего оставлять. Без палки трудно ходить, что теперь делать?

– В аптеках продаются, я видел, когда лекарство покупал.

– Не палки там, тоненькие тросточки. А дорогие какие! Всю пенсию придётся отдать! Ты, знаешь что? Сделай-ка мне палку из своей старой клюшки, что в подвале без толку лежит.

Разыскав с большим трудом среди подвального барахла вратарскую клюшку, Сёма отпилит от неё крюк и ещё кончик для ручки, которую привинтил шурупом, снизу прибил резинку, дабы палка не скользила по полу. Изделие получилось тяжеловатым. Если бы нападающим играл – другое дело было бы, у них клюшки легче да кто же знал тогда, что костыль упрут?

– Вот народ пошёл – костыли воруют у старух, – никак не могла успокоиться мать, – разве можно так жить? Нет, так жить нельзя. Всё, конец жизни подошёл. Главное и костыль и ведро им понадобились, всё отобрали, – она опёрлась на ручку. – Знаешь, отпили-ка ещё чуть-чуть, высокогато для меня. Хотя нет, не надо, пусть так остаётся. Вот кому могло понадобиться? Сёма, давай покушаешь, у меня капуста тушёная со вчерашнего вечера осталась, картошка есть круглая варёной, поешь?

Сёма отказываться не стал. Денег у него не было ни копейки, подработки тоже.

– Ты отца, Семушка, помнишь?

– Конечно.

– А вот я мамы своей совсем не знаю. Фотографий тогда в деревнях не делали, она умерла мне двух годочков не было, в страду на полях, при родах. Сундучок с её приданным остался, с которым замуж выходила за тятю. Когда подросла, стала открывать тот сундучок, а он мамой пахнет, так хорошо, так чудесно, родным – родным. Сундучок вместе со всем добром отобрали. Коммуну-то в нашем доме организовали, а нас на лесоповал отправили. Вот же дураки были – у сироты отбирать материнскую память, ну ладно там, лошадей, коров, скот, даже дом – бог с ними, а сиротский сундучок зачем? Иногда будто и вспомню запах, так хорошо на душе станет... давно уж вспомнить не могу, как не стараюсь.

После войны ездила в свою деревню, на родину-то всё равно тянет. Деревни нет, полностью раскулачили, Пашка Мишин один от всех старей-престарый в соседней деревне жил. Обрадовался, когда признал, кричит жене: «Марья, накрывай на стол, Бодаёва приехала! Да слазь на сеновал, там однакося вчера ложки оставили!». Как был Пашка голь перекатная без царя в голове, таким и остался. В избе пусто – шаром покати, ложек трёх штук не сыщешь, разве что на сеновале. Я мечтала ему морду набить за воровство, но посмотрела на их существование, сказала: «Дурак ты был, дураком и остался на веки вечные», и ушла. Дураков учить – время зря тратить.

Организовали комиссары коммуну, чтобы жить не работая, а только веселиться и агитки распевать, как им власть наобещала, согнали в общий двор отобранный скот, всё лето резали, мясо ели, самогон пили, плясали да песни матерные орали с частушками. А как всё приели, разбежались обратно по домам, вот коммуне и конец пришёл. В колхозы уже потом, через какое-то время надумали народ сгонять: хочешь – не хочешь отдавай землю и скот, а то раскулачат и за так отберут хозяйство, но уже вместе с домом, а семью на лесоповал отправят. Колхозного времени деревня наша не пережила.

Когда Сёма уходил, мать остановила:

– Погоди сынок, посидел бы маленько...

– Идти надо.

– Всё торопишься, не посидишь никогда.

– А чего сидеть зря?

– Когда-нибудь захочется поговорить, да не с кем будет. Послушай Сёмушка, почему вам с Ирмой ребёнка не родить? Тогда бы и стала у вас семья настоящая, а то какая без дитя семья?

Сёма сморщился привычно: «Какие дети, боже мой? И так еле-еле душа в теле».

Мать, однако, смотрела в пол, переживала, что сын до седых волос дожил, на пятом десятке уже и таких простых истин не понимает, потому жизнь проживает зря. Говорила она неприятном Сёме нудным голосом, будто жалуясь на него. Будто видела тоже старого знакомого Клементовского, ему и рассказывала. А тот поддакивал, кивал лысой башкой, подмигивал Сёме: дескать кайся, грешный человек!

«Вот был бы ты человеком, на работу хорошую устроился, родил ребёнка, как бы замечательно! Я бы ещё успела поводить с внуками. А хорошо бы девочку Ирма принесла, ох какая бы тогда радость нам всем. Вдруг в маму мою пойдёт? Я маму никогда не видела, вот бы и посмотрела и порадовалась. Ах, Сёма, какое бы счастье!».

Жалко мать, но порадовать нечем: Ирма беременна, сама призналась, только что с того, не его ребёнок, какого-то Макуши, которого Сёма сроду не видывал и не знал, пока всезнающий чёрт Клементовский не подсказал. А не подсказал бы, то и считал своим. Может даже лучше было бы. Мать Сёме жалко, себя нет. Почему не порадовать?

– Ну так слушай, Ирма беременна. Решила родить, и то скоро уж сорок лет, чего ждать?

– Правда?

До того восхитилась старуха неожиданной новости, что забыв костью кинулась на кухню собирать гостинец Ирме, а Сёму отправила немедленно в погреб за свеклой, капустой, морковью и картошкой.

Свеклу с морковью в том году Сёма не заготовил, думал с базара зимой покупать, много ли им надо? Капусту они с Ирмой никогда не солили. У матери же запас до сих пор в погребе остаётся. Неудобно брать, а чего делать, если родительница приказывает? Деваться некуда, подчинился. Свекольник можно сварить, постным маслом заправить.

– На каком месяце? На втором? Долженько ещё. Но надо дожидаться, слава богу, увижу своими глазами внучку. Хорошо бы девочка родилась. Завтра на базар пойду, яблочек куплю, помидорок, огурчиков свежих с грядки. Без витаминов ей сейчас никак нельзя. У вас ведь ничего нет, ах ты, боже мой, радость какая!

– Зачем тебе по жаре ходить, да ещё сумку таскать? Дай денег я куплю и от тебя подарок вручу.

– Ой, Сёма, разве сможешь ты хорошие продукты выбрать? Что продавщицы сунут: с гнилью да мятых да битых, то и возьмёшь. Скажешь:



«А, ладно и так сойдёт». А Ирма подумает, что это я ей дрянь подсовываю, рассердится. Нет уж, сама схожу помаленьку, а ты лучше встретить меня на базаре и сумку к себе сразу отнесёшь. Подходи на базар к часу дня, там и свидемся. А теперь с богом, хватит без толку сидеть, надо дома помогать. Ирма пусть бережётся. Ничего делать не позволяй, особенно тяжёлое поднимать – боже упаси. Себе работу срочно подыскивай, иначе вам ребёнка не поднять.

Как-то само собой издавна повелось, что Ирма Сёмину мать недолюбливала. Впрочем, и самого Сёму не любила, чего про мать говорить? Про мать и разговора нету. Сёма то прекрасно понимал и мать несомненно догадывалась по холодку, с каким Ирма держалась, приходя в гости к свекрови на праздник. Просто так, одна не зашла ни разу. Исключительно с Сёмой.

Тем более, чего мать возрадовалась? Ребёнок будет Ирмин в первую голову. Захочет – покажет, не захочет – и не увидит бабка внука никогда, особенно, если с Макушей сойдётся. Тем более, что никакая она не бабка, так, с боку припёка, хотя и не знает того. Вдруг Ирма правду расскажет? Ей чего? Ей – запросто. Сердита жена на него, а значит и на мать, за то что родила Сёму, вырастила на ирмину беду, и в результате её стараний Сёма теперь занимает место в комнате общежития. А когда бы место было пусто, глядишь, и нашелся на него более стоящий претендент, вроде Макуши. Да и сам Макуша когда заглянул бы в свободное время, наведалься, так сказать. Чего по Ширинкиным озёрам мотаться?

Понятное дело, мать теперь начнёт названивать лично Ирме, приглашать в гости, беспокоиться, лезть с советами и наставлениями, а Ирма от того будет злиться. Как бы с ней договориться помалкивать насчёт Макуши? Мало ли как дело повернётся, правда? Возможно и бабка со временем пригодится, где посидит с ребёнком, поводится. А улыбаться её никто не заставляет, напротив – всё от неё ныне стерпится. Сами улыбаться будут и благодарить без перерыва. Радоваться и восхищаться и петь осанну.

Вернулся Егоров домой в смешанных чувствах, сдал продукты на кухню, привет передал, со скрытым намёком пожелания здоровья для Ирмы и будущего ребёнка от бабки, дескать не прояснил он матери действительного положения вещей. Ирма расчувствовалась, по глазам видно.

– Вот напрасно, ты, Сёма, узнал про ребёнка. Не знал бы – и жил хорошо, спокойно, не пришлось бы нам комнату делить пополам.

Глянул Семён вокруг: ба, пыль протёрта, вещи прибраны, пол вымыт, от черты, делящей жилплощадь пополам следа не осталось даже на телефоне. Вселенная местного бытия воссоединилась, объявив миру – мир.

– Не любишь ты меня Сёма. И не любил никогда, – произнесла Ирма задумчиво с выражением, будто подводя некий промежуточный итог совместной жизни. – Потому так и получается всё у нас с тобой через пень колоду. Правильно говорится – живут, куда деваться некуда. Давай существовать дальше, бери вот ножик, чисти картошку.

Клементовский морщил нос, сидя в углу: «Пока мамашу свою божественную изволили проведать, сюда Макуша забежал. Благоденствовали на кровати Бога Живаго цельных полтора часа, ой, святотатство какое! А пыли сколько подняли! И никакая Полыхалова не подумала на их брата с сестрой водичкой святой брызнуть, дабы изгнать дьявола с дьяволицею в тартарары! Чего Сёмушка картошку не чистишь? Ты чисти, чисти, не отвлекайся на мысли посторонние. Когда предлагают вам вышвырнуть неверную с балкона под настроение, вы не хотите, теперь поздно сердать и бесполезно. Привыкай. Как говориться – повадилась баба в грече валяться – всё поле умнёт. А как бы полетела шикарно, да с визгом! И теперь, кстати, ещё совсем не поздно выкинуть вон, а то ножичком в бок пырнуть можно. Скажешь милиционерам, довела, дескать, до ручки чёртова баба со своим Макушкой якшалась, следствие беременность подтвердит. За убийство из ревности, много не дают, на поселение отправят, да вам не впервой.

«Смотри, ушибу!», – пригрозил покойнику Сёма.

Клементовский не стал дожидаться расправы, с диким воем вылетел в форточку и принялся мелькать перед окном, носясь туда-сюда звонким жаворонком в звенящем от солнца, чистом небе, полном счастья и свободы.

## 15.

**Сему не берут на работу сторожем в магазин и он чувствует себя лишним человеком вроде Печорина.**

С утра Егоров заспешил по адресу в магазин Речпорта, где по данным бюро трудоустройства требовался сторож. Магазин оказался серой бетонной коробкой на берегу реки с разбитыми стеклами окон, которые заменяли доски и куски фанеры. Он был огорожен забором. В будочке у ворот сидел человек, который поднимал и опускал цепь перед проезжающим транспортом.

«Это, наверное, и есть сторож», – подумал Егоров, но не стал с ним разговаривать, прошёл напрямик в грязное серое здание, имевшее вид более чем запущенный. В широченном пустом и гулком коридоре пахло речной тиной и мокрым песком, будто после наводнения. Было темно. В первой же комнате без дверей он увидел человека, одиноко сидящего за столом и евшего из банки рыбные консервы ложкой, накладывая их на хлеб и с чувством откусывая при этом от головки луковицы. Рядом располагалась самодельная спиральная электроплитка и тарелка с окурками. Вокруг его головы кругами летал доктор Клементовский, размером с надоедливую муху.

Человек не обращал на мух внимания, увлечённо, с тем же аппетитом, что и ел, читал детские стихи пронзительным голосом шестилетнего мальчика из хора:

Очень вкусно, очень сладко,  
Съем пирог и шоколадку!

Но жевал при этом вонючие консервы с липковатым чёрным хлебом плохой выпечки, время от времени отгрызая кусочек горькой луковицы, изображая лицом необыкновенное блаженство.

Сёме в одну секунду стало ясно, что представляет человек себя маленьким ребёнком из собственного детства, когда родители, приходя с работы дарили шоколадки с конфетами, а бабушка то и дело уговаривала съесть кусочек большого сладкого пирога с вареньем, что стряпался почти ежедневно и при том читала сказки с этими стишками для аппетита. И от того голос его звонок и выражение лица светло и празднично. Уносясь строфами стихов в безоблачную детскую жизнь, обедавший пытался хоть ненадолго забыть о неприятностях нынешнего существования в разбитой бетонной речпортовской коробке, и так ему вкусно при этом кушать, что даже нос не воспринимал гнилой рыбный запах под те стишки. Почувствовав родство с обедавшим, передавшееся через одну прочитанную в детству сказочную книжку, Сёма дал сидевшему дожевать, потом только расспросил о вакансии сторожа, не без грусти возвращая человека в суровую реальность местной рыбной торговли.

– Так уже приняли, работает третий день. Пока без срывов в смысле дисциплины.

– Тогда распишитесь в бумаге от бюро трудоустройства, что сторож вам не нужен, – выдохнул Сёма с облегчением, что не придётся трудиться в столь затрапезном месте.

Совсем другое дело работать в электронных машинных залах, где от кондиционеров веет круглосуточная волшебная свежесть, повсеместно царит идеальная чистота, а электронщики с программистами надевали белые халаты, общаясь с ЭВМ. Тут же чёрте что.

Человек вздохнул, окончательно расставшись со сладким ароматом детства, вытер пальцы грязным махровым полотенцем, и ручкой аккуратно написал: «Сторож принят. Вакансия заполнена», ниже расписался очень витиевато, сознавая свою значительность в местном делопроизводстве и кадровом процессе как таковом. После чего вернулся к рыбному бутерброду не первой свежести, стал жевать дальше, но без воодушевления, разрушенного приходом Егорова, просто в силу суровой взрослой необходимости, для выживания организма.

«У консервов срок хранения истёк, – надсадно жужжал Клементовский, – покупателям продавать нельзя, так ими персонал снабжают в качестве оплаты труда, безобразия! Куда профсоюз смотрит? Ну куда?».

«Слава богу, что не взяли на работу, – покидая серое здание с забытыми окнами размышлял Сёма, спрашивая себя недоверчиво, – вот смог бы я те консервы от голодухи жрать или кишка тонка? – и понимал, что не смог ни сам ни мать с Ирмой кормить. – Издеваются над людьми, а тем приходится

существовать параллельно в волшебных мирах, чтобы окончательно не опуститься, не начать ругаться на всех подряд да пить водку».

Бумага резко пахла килькой в томате. Следующим в списке значился адрес близкий к общежитию: магазин «Балдахин».

Однако в новеньком, только после евроремонта магазине ему как-то слишком вежливо отказали молодые люди в одинаковых чёрных костюмах, галстуках и табличках на лацканах: «Уже приняли».

Ожидая, пока один из них напишет на бумажке, пахнувшей тухлятиной свой вердикт, Сёма стоял рядом, чувствуя себя неряшливым, старым, ни на что не годным, вконец опустившимся человеком с грязными морщинами на вспотевшей шее.

«Может и не приняли, но не подхожу по внешним данным. Лишний я человек на свете, вроде Печорина».

Так Печориным и приехал к часу дня по жаре на местный базарчик встречать мать с продуктами, как с ней вчера договаривались. Уж здесь точно он был лишним, коли денег в кармане не имел ни рубля.

Базар величиною в один жилой квартал, на котором перекрыто автомобильное движение и по обе стороны дороги вплотную друг к другу стоят палатки с товаром. Всё свалено вперемешку – палатка овощная соседствует с книжной торговлей, та с молочным киоском, которому полагается охлаждение, потом палатка конфетная, затем печенье, потом с баночками кофе, прикрытыми от воров сетью, и коробками чая. Дальше киоск копчёной рыбы, затем сыры, сгущёнка и сливочное масло, и снова рыба, но свежемороженая. Палатка с мужской обувью по сезону сменяется стеклянной витриной колбас, сосисок, буженины и прочих радостей желудка недоступных безработному Сёме, живущему на картошке из погреба, выращенной на инвалидном поле прошлым летом. И сейчас на том поле новая картошка растёт, надо съездить, окучить. А вот будущей весной непонятно где садить, инвалидность ему не продлили, значит из общества инвалидов исключат, следовательно, земли он не получит.

В самом начале базара цены высоки. Рассчитаны на тех, кто спешит, недосуг кому углубляться в базарную жизнь.

Подбежал голодный студент, увидел вилочку капусты, будто загнипнотизированный на него уставился и купил по восемь рублей за килограмм, в сумку кинул и скорым галопом кинулся в общежитие – тушить, а в середине базарного квартала можно такой же точно по четыре рубля взять, если же у совхозной палатки очередь отстоять, то и по три.

Мать тяжело шла навстречу Сёме, груженная туго набитой сумкой, сильно ударяя самодельным костылём перед собой. Её пошатывало от жары, лицо багрово-красное, седые волосы выбились из-под шерстяного платка. Кремовое демисезонное пальто нараспашку, хотя на улице двадцать градусов тепла и очень солнечно.

Остатки отдельного ударного батальона с военного времени бьющегося ради жизни на земле, чтобы детям и внукам жилось хорошо. И вдруг силы покидают их, тела предаются дряхлостью. А они, не желая того признать,

продолжают вести нескончаемый бой, прекрасно зная, что подмоги не будет, и помощи ждать не откуда, а потому надо работать, ходить, возить самим.

Дети не принимают родительского усердия в борьбе, про внуков и говорить нечего. В конце приходит осознание бесполезности всех усилий и жертв: выстроенная, завоёванная жизнь принадлежит не им, ни их детям и внукам, у жизни этой совсем другие хозяева и получается весь нескончаемый бой вёлся ради постороннего довольствия. Они успевают лишь громко возмутится на последок, не более, другого им не дано и не позволено.

Сумка с замотанными синей изолентой ручками полна подарков для Ирмы, верно с радости бабка спустила пол пенсии, а всё равно, хоть еле тащит, не может пройти мимо новых прилавков, не спросив: «А почему у вас эти помидоры? Апельсины, небось, неспелые? Можно самой набирать?»

«Нельзя», – отвечают одни продавщицы, а другие даже или не отвечают, отворачиваются в сторону.

И прочие граждане освобождают старухе дорогу, расходятся в стороны, сама с собой разговаривает: «Взять рыбки что ли еще? Хорошей? Терпуга или горбуши? Может стерляди ради праздничка?»

– У вас стерлядь есть? Только мне хорошую, чтобы свежая была!

– Нет у нас стерляди!

– А что хорошего у вас есть? Ничего хорошего, известное дело.

Продавщица рыбного киоска заругалась в ответ, ей обидно, что какая-то пенсионерка товар хаёт. И так плохо берут, а тут еще эта вырядилась в резиновые калоши с шерстяными носками, морда свекольная, вот-вот кондрашка трахнет, нет, срочно найдите барыне стерляди свежей! Шляются старые перечницы, делать им нечего, с утра до вечера, чего только не требуют, куда только нос свой плесневелый не суют, а в результате ничего не купят и уйдут. Торговаться любят, а денег нет, да и какой может быть в наши времена торг, когда все цены на ценниках указаны? Нет, ценников они видеть не желают, ты им вслух скажи, да всё покажи, да расскажи...

Толпа осуждала бабку молча, освобождая пространство вокруг неё в виде позорного круга, люди отворачивались, не вступая в лишние прения.

Частью этой базарной толпы оказался и Сёма, когда прошел мимо ругавшейся матери, будто не признал или не разглядел по слепоте, возникшей от фокусов Клементовского и уж точно – не услышал. Потом дальше-дальше, бежал без оглядки.

## 16.

**Родительница Сёмы разбивает себе голову и ломает два ребра. Сёму подозревают в нападении, но признают лишь тунеядцем.**

В середине октября погода окончательно поворачивает на зиму, отопление наконец-то включили после долгих ремонтов, аварий, и снова ремонта. В общежитии потеплело до той степени, когда и не верится, что

где-то на улице свищет ветер, несёт с черноты неба холодный дождик и мокрый снег.

Так хорошо греет рядом с постелью большая батарея, так сладко спится под теплым одеялом октябрьской ночью, что когда звонит телефон во втором часу ночи звонит, хочется закрыть уши: кого черт раздирает, или опять ошиблись номером?

– Сёма ... Сёма, я сейчас так упала, разбила голову ... вызови скорую ... и сам приходи ... я чего-то ничего не понимаю.

Позвонив в скорую, Егоров побежал к матери. У подъезда уже стояла машина, и двое врачей входили в подъезд. С раскрытым ртом, но так и не успев ничего сказать, Сёма проследовал за ними.

Мать стояла в коридорчике у вешалки, в ночной рубашке, прикладывая окровавленные тряпки к голове. Взгляд ее перебегал с Семы на врачей, казалось, она не могла понять, откуда вдруг все здесь взялись.

– Сёма, – сказала она, признав сына, – я упала. – И показала на дверь, ведущую в комнату.

Белый крашеный косяк сильно забрызган кровью. Еще больше, целая лужа тёмной, почти чёрной крови стояла на полу, в коридорчике, ведущем на кухню.

– Ничего, до свадьбы заживёт, давай сядем на диван, тут врачи уже приехали, сейчас они тебе повязку наложат, укол какой-нибудь сделают.

– Сёма, у меня бок правый ... ой... болит, ой, дышать не могу. И рука не поднимается, я ей, наверное, об пол ударилась. Ничего не помню.

– Укольчик-то мы, конечно, сделаем и легкую временную повязку наложим, но повезём бабушку в травмпункт, надо рентген делать и обработку раны, возможно зашивать придётся. Готовьте одежду и документы.

Мать смотрела на Сему вопросительно, ожидая от него указаний, чего прежде с ней никогда не случалось: уж что надеть она всегда решала сама, а заодно также и то, что надеть ему.

– Денег возьмите на обратную дорогу, – подсказать врача, – мы вас туда только доставим.

– Возьми Сёма из узелка, в швейной машине. Пятьдесят рублей хватит?

Сёма взял пятьдесят рублей, которые оказались в узелке последними, страховой медицинский полис и паспорт матери. И правильно сделал, ибо первое, что затребовал принимавший больничным доктор был именно полис. Записав данные в книгу он приступил к опросу:

– Это ваша бабушка?

– Мать.

– Кто её ударил?

– Никто не ударял, упала и сильно ударилась головой о косяк.

– Может, вас толкнул кто? – спросил врач, обращаясь к матери.

Та сидела сонно кивая, и терпеливо глядя на белый кафельный пол.

– Раздевайте бабулю, смотреть будем, как это она сама упала макушкой практически. Очень интересно знать.

– Упала я. Так меня обнесло, что и сама не помню, как с ног слетела. Рука сильно болит вот здесь и живот.

Принимавший доктор что-то записал в журнал с полиса, глядеть и не подумал, ушел недоверчиво нахмуренный.

На смену ему явился молодой чернявый практикант с заспанными глазами, стоящим торчком вихром на затылке, и не жалея зелёнки принялся старательно обрабатывать рану. Ему страшно хотелось спать, однако делал молодой человек свою работу чрезвычайно старательно и аккуратно, словно сдавая фельдшерский экзамен.

Сделав перевязку, моментально выпал из белокафельной комнаты духом святым, оставив их одних.

Вместо него из невидимого дверного проёма объявился вполне осязаемый призрак доктора Клементовского.

– Сёма, дорогой, чего зря ждать, давай-ка сбегаете до операционной, там трудный больной богу душу отдаёт.

– Чего удумал? Я с матерью приехал, вдруг ей плохо станет и опять упадёт? И зачем тебе в операционную понадобилось? Напугать хирурга, чтобы ошибся?

– Всё равно помрёт больная, душа отклеится, вознесётся, я бы с ней слинял за компанию, шибко мне всё надоело здесь волынаться. Знаешь, Сёма, за компанию ведь и уксус сладкий, а кстати там самоубийцу-девушку спасают, уксуса приняла по причине несчастной любви: отравиться решила, так-то вот. Не интересно разве глянуть? Шоу – высший класс! Спасти её, конечно, у них не получится, руки короткие, зато намучается деваха всласть.

– Если самоубийца, в ад попадёт. Зачем тебе в аду гореть за компанию?

– Ерунду собираешь, Сёма: рай, ад, сказки для детского воображения. Если душе здесь плохо было, будь уверен – в любом пространстве дурно покажется. А остальное – выдумки, это я тебе по секрету из будущего рассказываю, как хорошему человеку. Пойдём в операционную сходим, ты в эту комнату зайди, халат белый с вешалки сними, надень и пойдём, в халате тебя повсеместно пустят.

В приёмном покое холодно будто уже в анатомической камере, через систему открытых невидимых дверей с улицы свистит промозглый сквозняк.

Мать замёрзла сидеть в одной рубашке на кушетке. Сёма принялся было её одевать, но зашедший мимоходом подозрительный доктор объяснил, что одеваться пока рано. Надо вставать, идти на рентген вон туда, махнув рукой в пространство, сам выбежал в другой коридор.

Стены и пол всех окрестных помещений покрыты одинаково белым кафелем. При тусклом ночном освещении они сливалось в сплошную клетчатую плоскость, даже невесть для чего нужные выступы и ухабы на полу выглядели под одно.

Придерживаясь стенки, Сёма с матерью брели в указанном направлении, и довольно скоро оказались у настежь раскрытой входной двери в приемный покой, через которую с улицы несло холодом и осенней непогодой.

Пришлось возвращаться на прежнее место опять же по стеночке. Клементовский злорадно ухмылялся, высовывая голову из-за угла, но как только Сёма поднимал на него взгляд, прятался.

Долго ли коротко, отыскался рентген-кабинет с белой входной дверью, куда Сёма завёл ойкавшую при малейшем движении мать, помог ей вскарабкаться на стол под аппарат, куда указала техник-рентгенолог, после чего вышел в коридор.

В пустом прежде коридоре обнаружилась длинная самокатная кровать, на которой под одеялом лежала старушка в платочке.

Возле ходил и улыбался извинительно мужчина сёминых лет, от нечего делать разглядывая висевшие на стенах плакаты наглядной агитации по оказанию первой помощи при переломах. Ноги у старушки казались непропорционально длинными и ровными как палки, далеко торчали из коляски, накрытые одеялом, а лицо в платочке маленькое, сморщенное и глаза закрыты.

– Вот, – сказал мужчина, показывая радушно на коляску – мать, шесть месяцев назад сломала себе ногу, и долго у неё это дело не срасталось, известное дело у стариков плохо срастается, чего уж там. Но вроде помаленьку срослось, с палочкой ходить стала, недавно уже и без палочки по хозяйству снова зашустрила. И что вы думаете? Вчера вечером полезла на табуретку заводить часы настенные, чёрт её туда занёс, не иначе, могла бы меня позвать завести, и конечно упала с табуретки, вот – пожалуйста, снова в лёжку лежим, сломала обе ноги. Обе! Скорая приехала, шины наложили, теперь надо рентген пройти, вы крайние?

– Мы, – подтвердил Сёма.

Мужичок подошел к коляске и спросил:

– Ну что я теперь с тобой делать буду, ёшкин кот, мне завтра на работу с утра пораньше бежать, жене тоже, Ваньке в школу. Кто за тобой ходить будет, а?

Бабка ещё плотнее сжала веки.

– Так может, в больнице оставят? Раз человек лежачий, с такими переломами.

– Нет, извините, стариков в больницах нынче не держат. Это я точно знаю. Вот сейчас ей переломы сфотографируют, бумажку напишут, и ездай домой на все четыре стороны, как хочешь. Такие пироги с котятами, ёшкин кот. Государство рассчитывает пенсию платить человеку двенадцать лет, больше денег не хватит. Если вышла тётка в пятьдесят пять лет на пенсию, значит в шестьдесят семь должна помереть. А тут семьдесят пять уже, какая к черту больница? Нет, не возьмут ни за что: «У нас не богадельня», – и весь их сказ, или ещё: «Чего мамашу с рук сбить хотите больнице на содержание?»



Нам бездомных хватает». Невыгодно старух лечить, да пенсию им платить, негосударственный подход получается.

Дверь кабинета открылась, рентгенолог сказала забирать больную. После фотографирования мать еле двигалась. «Подождите снимков в приемном покое».

В приёмном покое по-прежнему холодно и пустынно. Усадив родительницу на кушетку, Семён накрыл ей плечи халатом. Приказа одеваться не было.

– Где доктора-то? – спросила та вдруг, словно очнувшись от дрёмы, – почему в палату не отправляют? У меня ноги в лёд замерзли сидеть.

– Едва ли в больницу положат.

– Как? У меня ребро сломано, мне врачиха сказала. Лечиться же надо.

– Ну, не знаю, как скажут, когда снимки готовы будут.

Посидев еще немного, она спросила:

– Одеваться можно? Поди, узнай.

– Конечно можно, – сказал первоначально принимавший доктор, – я сейчас как раз выписку вам делаю с диагнозом, напишу и можете домой ехать. А завтра вызовите своего участкового врача, он назначит вам лечение. Хотя никакого особого лечения при переломах рёбер нет и быть не может, сами срастаются от времени. Но время это у всех разное.

Егоров объяснил ситуацию матери, которая как бы уснула снова, сидела понурившись, глядя на кафельный пол ничего не спрашивая, как это она делала обычно. «Так что сейчас оденемся и поедем домой», – закончил он. Та согласно кивнула.

– А хорошо бы Ирма девочку родила, я бы водилась с ней помаленьку.

– Да уж, – буркнул сын, – просто замечательно. Не беспокойся, родит, ещё и надоест со временем водиться.

В половине восьмого утра, с началом работы регистратуры, Сёма позвонил в поликлинику вызвать врача на дом. В какое именно время участковый терапевт Горевая придёт, в регистратуре не говорили.

– Не раньше обеда, – подсказала мать, – наша участковая после двенадцати обход делает, а до меня добирается еще позже. Хотя кто ее знает, может и в одиннадцать прийти. Но раньше одиннадцати ни разу не была. – Она попыталась приподняться. – Ох, и голова болит, посмотри какая на затылке шишка, рассекла почти на темени, а шишка сзади. Тебе куда-нибудь, небось, идти надо?

– К девяти часам сбегаю на прием в бюро трудоустройства и сразу вернусь. Что на завтрак будешь кушать?

– Да я вот ничего не хочу вроде бы, а надо ведь поесть. Но не раньше одиннадцати, раньше утром теперь не встаю. Ты возьми себе кусочек колбаски, там есть в холодильнике, бутерброды сделай. Завтракай да иди по своим делам, может, какую работу тебе найдут в бюро.

По времени, указанному на задней страничке книжки безработного, он оказался первым, и Нелли Викторевна взглянула сразу же хмуро, как будто

именно из-за Егорова ей сегодня ни свет, ни заря пришлось вставать и ехать на работу. Хотя, если по сути вещей, именно так оно и есть.

– Здравствуйте, – скованно произнёс Егоров, понимая свою вредность в жизни инспектора.

Тень участкового терапевта мигом юркнула под стол инспектора. Что она там делала – неизвестно, но ничего хорошего, ибо инспекторша явно злилась.

– Ну что, Егоров, нашли работу?

– Никак нет. Как ни приду, то занято уже место, то я им не подхожу.

– Ой, врешь, Егоров, ты дурачка из себя здесь не строй. Думаешь, не видно со стороны, какую игру ведёшь? Стаж тебе идёт ни за что ни про что, зарплата, какая никакая начисляется, зачем работать, да Егоров? Куда лучше тунеядствовать. Да ты ведь здоровее меня в десять раз и мужик к тому же, почему я вот сижу здесь и работаю, деньги зарабатываю на жизнь, а ты не хочешь? А? Мужчина называется.

– Мужчина – тунеядец, – подхватил невидимый Клементовский, – мужики оне все лодыри до единого. Ой, а грешники какие – не приведи господь!

– Ну, допустим, денег мне, Нелли Викторовна, пока ни копейки не заплатили.

За соседним столом номер два консультант вводила в компьютер данные на очередную безработную, сидевшую перед ней.

– У вас акции есть? – спросила она приветливо и как бы между делом, вроде намереваясь дать путный совет по рынку ценных бумаг.

– Это какие?

– Любые. Хоть обыкновенные, хоть привилегированные, которые все на ваучеры меняли.

– А, те, есть, конечно.

– В таком случае вы являетесь акционером, обладаете пакетом акций и не можете быть зарегистрированы в качестве безработной, так как имеете посторонний источник доходов в виде дивидендов.

– Нет никаких дивидендов. Никто не платил ни разу.

– Это не важно. Сегодня не платят, завтра заплатят. Короче вы – акционер, а акционер статус безработного не получает.

Женщина расстроилась.

– Что же мне делать? Меня же уволили без собственного желания, сократили с работы. А ваучеры всем давали, потом их меняли на бумаги эти...

– Ишь, разнылась буржуйка, – картавил Клементовский по-ленински, – акции капиталистка имеет, а туда же, в безработные лезет! Классовый архинонсенс!

– Продайте свои акции, тогда приходите. Или подарите. Позовите следующего. Да, и справочку не забудьте принести, что бумаги продали. Я здесь пометку вам сделала, что вы акционер.

Нелли Викторовна рассеяно отвлекшаяся в окно, внезапно оживилась.

– Послушайте, Егоров, – вкрадчиво произнесла она, – вы свой ваучер на акции меняли?

– Нет, я свой ваучер за бутылку продал, а бутылку ту выпил давно.

– Какой же ты всё-таки разгильдяй, Егоров, – рассердилась инспектор. – В прежние времена с тобой бы долго не возились, в два счёта осудили по закону за тунеядство да заставили улицу мести в принудительном порядке. С такими как ты, только так и надо. Няньчись тут с ним теперь, время зря теряй!

Она распечатала на принтере новый список предприятий.

– Придёте через неделю.

– Приду, сладкая моя, ох, и приду, не пожалеешь!

От того, как расширились глаза инспекторши, Сёма догадался, что инспектор расслышала, сказанное Клементовским, и быстренько выскочил вон из кабинета, не попрощавшись даже.

## 17.

### **Урожай инвалидной картошки. Оскорбление театра абсурда и конец Вселенной.**

До октября Сёма бегал, искал работу, однако безрезультатно.

Пособие ему так ни разу и заплатили, правильно Нэлли Викторовна предупреждала о серьёзной задержке, хорошо хоть картошка уродилась на инвалидном поле: накопал целых пятнадцать мешков с шести соток, аж ослеп, пока камаз нагружал – разгружал. Инвалидам остальным помогал, потому как они всё старые, да немощные, выкопать – выкопали, а на борт грузовика мешок закинуть сил нет, а он вроде здоровый на вид. Поздней ночью разгрузился последним свои пятнадцать мешков в материнский погреб, камаз уехал, а он еле до квартиры добрался. Открыл дверь своим ключом и прямо в коридорчике силы покинули окончательно, на пол сел отдохнуть.

Мать поднялась с кровати, выглянула из комнаты:

– Ты чего Сёма здесь сидишь?

– Картошку привёз, устал. Пятнадцать мешков накопал. Сейчас отдохну, встану.

– Пятнадцать кулей – хорошо, на зиму хватит и на лето останется. Будем на картошке жить, значит. Ой, да на тебе лица нет. – Включила свет, присмотрелась внимательнее. – Какой Сёма ты старый стал, и даже зубы железные во рту блестят. Никогда не думала, что доживу до того времени, когда у тебя будут зубы вставные.

Сёма не нашёлся, что ответить, заполз на карачках в ванную умыться. Когда стелил себе на диване постель, мать спросила:

– Правда в квартире сильно холодно или мне кажется?

– Не жарко. Сегодня на улице снег уже летал.

– Батареи совсем не греют. Хоть бы зима сиротская выдалась, а на следующий год обязательно надо батареи менять. Одень на меня свитер, что ли. Ой-ей, рука совсем не поднимается. Зябну я, накрой ещё сверху одеялом шерстяным.

Сёма взял со стула верблюжье одеяло, которое при заправке кровати обычно застилалось и прикрыл сверху, сам сел на диван, включив радиоприемник погромче, чтобы заглушить шум уличных машин и разговор прохожих, которые беспрерывно двигались на уровне окна и днем и ночью круглосуточно, передавая друг другу новости.

– Выключи, – попросила мать, – думать мешает.

Сёма выключил.

– Раньше батареи промывали за три рубля штуку перед включением в сентябре, а теперь перестали, сантехники обленились вконец, уже сколько лет не промывают. А нанимать – сто рублей батарея стоит, я узнавала, совсем с ума сошли, ей богу, такие деньги дерут.

– Та, что у дальнего окна, ничего еще, – сказал Егоров, а ближняя, у большого окна точно не греет.

– Её промывать бесполезно, за столько лет вся изнутри уже окаменела, сколько наш дом стоит? Лет сорок? Батареи ни разу не меняли, там и воде внутри течь негде. Знаешь что? Включи-ка газовую плиту на кухне, пусть немного погорит, хоть может воздух прогреется.

Сёма зажег конфорку и поставил на неё кастрюлю с водой.

Старуха закрыла глаза и долго молчала. Егоров решил, что мать задремала, тоже улёгся, выключил свет. Вдруг она сказала:

– Сейчас поняла, что комиссары нас разыграли.

– Какие комиссары?

– Которые пришли в деревню коммуны устраивать. Им дом нужен был для постоя. Вот и принялись разыгрывать любовь между собой, как нынче в телевизоре артисты играют. Хотели, чтобы народ стал на них ругаться стал, как они порядок вещей и устои нарушают. С одним баба-комиссар целовалась, другой её тут же тискал, народ смотрел-смотрел на такое дело, плевать начал, тятя первым и сказанул им прямо в лицо, кто они такие есть, а те, знать, только того и ждали. То им и было нужно. Провокацию устраивали: оскорбление власти искали. Закон у них предусмотрен был для того. Как обрадовались, когда тятя брякнул, боже ты мой! Быстренько-быстренько зачитали приговор, усадили нас на телегу в чём кто был и увезли. Получили место, где разместиться на постоя, начать организовывать коммуны с пьянками и песнями бездельными. Ладно, чего чертей к ночи вспоминать? Всякая дрянь в голову лезет.

Переночевав у матери, Сёма с утра опять погрел холодную квартиру газом при помощи кастрюльки с водой. Газ горел еле-еле, наверное все жители пятиэтажки грелись тем же способом. Кастрюля так и не вскипела.

Мать завтракать отказалась, вставать тоже: холодно и сил нет, осталась лежать.

– Ты иди по своим делам, на меня смотреть нечего. На стул водички поставь возле кровати, может пить захочется и телефон, если что надо будет вечером вам позвоню.

Когда Сёма взялся за ручку двери, она окликнула:

– Сёма, погоди.

– Что?

– Ирма как себя чувствует? Не болеет?

– Нормально.

– Слава богу. Посмотреть на неё хочется, как смогу встать и на улицу ходить, первым делом в гости к вам пойду.

В строке направления значился оклад две с половиной тысячи рублей в месяц, да и организация ещё та: городские электрические сети. Экономя деньги, кинулся бежать пешком мимо железнодорожного вокзала в сторону Степановки. Сутки через трое. Сидеть на вахте. От одной только этой новости, если удастся получить эту работу, мать сразу выздоровеет, а Ирма станет поразговорчивее. Но нет, приняли уже кого-нибудь наверняка, такое свято место пусто долго не остаётся. Надо было до картошки сбегать.

В пустом холле возле выхода к лестнице находилась темноватая фанерная будка, вроде списанного прилавка, внутри которого мелькнула через окошко маленькая сухонькая женщина-вахтёр, вроде бы ещё не старая, возраста неопределённого, ближе к пенсионному. Конторка сверху была открыта, Сёма заглянул в этот большой ящик поднимаясь по лестнице: внутри горела электрическая лампочка, а седенькая благообразная вахтёрша читала какую-то книжку, держа её на коленях. Она ни на кого не обращала внимания, кто бы не проходил и на неё тоже не смотрели даже. Сидит ну и пусть сидит.

Раньше Сёму рассердила бы очевидная глупость наличия столь бесполезного рабочего места, а ныне он душевно возрадовался, что оно существует и к тому же недурно оплачивается. Наверняка обязанности дополнительные имеются, к примеру консультанта. Он спросил её, где располагается отдел кадров, сторожиха указала третий этаж, взглянув на Егорова строго и даже излишне придирчиво, будто сама и есть отдел кадров.

Сёма не прочь был расспросить подробнее о работе: правда две с половиной тысячи или приманка и надо будет за эти деньги ещё снег кидать до упора всю ночь или полы мыть, придирчивы ли начальники, но подумал, что вдруг её саму увольняют или на пенсию силком выпроваживают и не осмелился – запрыгал вверх по лестнице.

Кабинетов на третьем этаже оказалось предостаточно, зато таблички отсутствовали, а сами двери радушно распахнуты из-за жары центрального отопления. Народа в комнатах не было скорее всего по причине обеденного перерыва. Ушли, оставив двери открытыми, чрезмерно надеясь на своего вахтёра. Он забрёл в пустую приёмную из которой можно было войти ещё в два кабинета, тут уж на дверях имелись таблички «Главный инженер» и

«Директор», обе также были распахнуты, но из них не доносилось ни звука. Боясь попасть в какой-нибудь местный просак, Сёма вышел из приёмной обратно в коридор, собираясь здесь дожидаться секретарши, чтобы спросить у неё по своему делу, как вдруг расслышал шорох в кабинете главного инженера и насмелился туда войти со своим мизерным вопросиком.

Во главе длиннейшего полированного стола сидел человек в серьёзных очках, который читал газету несколько в расслабленной позе, говорящей о случившемся только что приятном, вкусном и питательном обеде.

– Здравствуйте, я из бюро по трудоустройству, – выпалил привычной скороговоркой, – вам сторож нужен?

– По левую руку в начале этажа первая дверь, – не оторвавшись от газеты мгновенно ответил главный инженер.

Как раз в это время дверь искомого кабинета отворял плотный мужчина средних лет с круглой лысоватой головой и лицом определённо знакомым Егорову.

Он зашел в кабинет, Егоров проследовал за ним.

– Кто такой? – спросил знакомый лысый, не признавая Егорова.

– Я по поводу вакансии сторожа, – выразился Сёма уже благодарно улыбаясь за две с половиной тысячи зарплаты, и пояснил, – из бюро по трудоустройству.

И показал бумажку лысому.

Тот бумажку взял, ручку, быстренько что-то написал, и, хлопнув печатью, вернул Сёме.

Сёма прочёл: «Вакансий нет», далее следовала длинная роспись, напоминающая витиеватые клубы дыма из трубы. Разобрать фамилию по ней совершенно никакой возможности. Вот удружил, так удружил, а ещё знакомый называется. Что ты будешь делать? Такие места, небось, по настоящему знакомству раздают. А так – вот, пожалуйста: вакансий нет, чёрным по белому написано. Покинув кабинет, Сёма начал спускаться по лестнице.

Вдруг дверь кабинета широко распахнулась, лысый выскочил следом:

– Вы на постоянную работу пришли устраиваться или по договору?

– На постоянную, – озарился радостью Сёма.

Человек отвернулся, недовольно вернулся в свой кабинет, окончательно и бесповоротно потеряв интерес к посетителю.

«Но согласен бы и по договору», – Сёма вышел вон раздосадованным, продолжая вспоминать, где бы он мог видеть лысого кадровика, и что бы ему сказал, увидев там вновь. Но вопрос, повертевшись в немного в голове, исчез, так и оставшись неразгаданным.

Клементовский даже не помог. Где не надо, он тут как тут. А где надо – молчит, будто воды в рот набрал.

– Я же не волшебник.

– А кто ты вообще есть такой? Откуда взялся на мою голову? В каком мире жил, что поделывал, чем занимался. За какие грехи к нам сослали?

– Бить не будешь? В форточку выбрасывать?

– Посмотрю на ваше поведение.

– Значит, суд божий наступил. Говорил Петрович, предупреждал, да святится имя мудреца нашего, а я не верил, посмеивался, вот Бог наш Живой и призвал к ответу. Всё расскажу как есть, не изволь гневаться, здешний я, местный можно сказать, но явился издалёка. Ох, издалёка... Из светлого будущего с чёрными проплешинами, но не иноземец какой-нибудь, свой, в доску нашенький, такой же как ты, может быть даже и потомок твой, стало быть, Сын Божий. Хотя, нет, конечно, забыл, из головы вылетело, Ирма-то во чреве постороннего носит.

– Опять вилять начинаешь, звали тебя как? Говори!

– Как на духу: Або Цифал.

– Ничего себе, местный.

– Это я в том смысле, что с Земли, а не какой-нибудь инопланетянин, как Максимка Криницын про меня решил. Свои мы, свойские...

– Имя странное, не слышал такого прежде. Какая страна?

– Какая страна, никакая не страна, не было уже у нас стран никаких. В одном месте клоны жили, в другом люди, вот и всё разделение. Я благородный клон, гений Або Цифал сорок четвёртый.

– Фу ты, ну ты, лапти гнуты. Клон вроде овечки Долли? Из пробирки?

– Вроде Долли, только в далёком будущем, по другим технологиям.

– А люди-то вас, клонов, не обижали? Пробирочный народ, наверное, дохленький получался?

– Пусть только попробуют! Извините. Нет, не обижали, хорошо жили, друженько. Люди отдельно – клоны отдельно. Разошлись цивилизации как в море корабли, потому что размножались по-разному. Какая может быть промеж нами любовь? Правильно? Мы думу думали, Вселенную изучали, удовольствия от жизни получали, как наш Бог велел, а те работали в поте лица, зарабатывая хлеб свой насущный. К нам частенько приезжали сантехниками устраиваться, строителями, ремонтниками, рабочими, садовниками тоже. Лимитчики, одним словом.

– В Москве лимитчиков и сейчас полно со всех краёв и областей. Даже с бывшего Союза.

– Во-во, у нас тоже самое, тютелька в тютельку. У вас лимитчики в Москве рабочими вкалывают, мечтают москвичами заделаться, а у нас клонами. Двадцать пять лет отслужи без замечаний – тогда пожалуйста, милости просим в клоны.

Так вот, изучали мы космос, искали братьев по разуму, лучи во все стороны посылали, потом Вселенная что-то портится начала – экологический вселенный кризис наступил. Сначала-то вроде понятно всё было: Вселенная расширяется во все стороны прямолинейно и равномерно, значит, был первоначальный взрыв, или с другой точки зрения – первотолчок, который дал существу Бог. Затем, когда научились мы своими душами-сигнатурами по Космосу рыскать, ох и жизнь интересная пошла!

Космические корабли, скафандры стали не нужны, куда хочешь, туда и лети. Именно тогда более точные наблюдения показали, что Вселенная

расширяется не равномерно, а равноускоренно и в разных местах по-разному. Словно бы кто раздирает её на все стороны. Пришли к выводу наличия Тёмной материи, и Тёмных дьявольских сил, которые Вселенную дерут как хотят. Вместо божественного первотолчка, получился дьявольская непонятная игра.

Дальше – хуже. Наши ближние галактики, оказывается, сжимались с убийственной скоростью, и в какой-то момент прошли уровень прежнего микромира, всё вокруг изменилось, звёзды другие, миры другие, но ничего – душами своими распознали как управлять. Затем приспособились психически влиять на самые дальние космические объекты. Представляешь, Вселенная реагирует на мои команды? Обалдеть. Поняли со временем, что находимся вместе с окружающим космосом внутри огромного живого существа, начали верить в Бога Живого, внутри которого обитаем. У тебя в голове, Сёма, очутились, в прошлое попали. Мать честная! Да хорошо, что в голове, а не в какой-нибудь пятке или, не приведи господь, камне почечном. Мысли научились читать, думали это Книга Судеб нам открылась божественная, а оно вон что оказалось.

Меж тем конец света забрезжил, вспыхнули костры квинтэссенции, чёрная материя начала являться везде запросто, пожирая обычную, мир должен был схлопнуться в точку. Думал-думал я что предпринять, и придумал: за пять дней до конца сиганул своей родной сигатурой прямо в чёрный костёр. Не пожалел. Пан или пропал! Но испытал муки адовы длинной в миллион лет. Одного боялся, что стану бессмертно страдающим, затем как-то прояснилось имя Бога Живого, его звали Сёма. Зная имя, вышел на контакт с ним, то бишь с тобой.

Вот и всё, как на духу, Бог ты наш Живой, не вели казнить через форточку, вели миловать.

– Значит не один ты в костёр сиганул. У нас во времена перестройки, да совсем ещё недавно, барабашек, вроде тебя, то бишь душ пропащих и заблудившихся много повсюду объявлялось. И в домах и в общежитиях. Газеты про них часто писали, по телевизору тоже показывали, теперь как-то прекратилось нашествие. Ладно, живи дальше. Только потише, сильно не психуй.

## 18.

**Военная картошка на олифе. Камаз картошки для общества инвалидов – залог выживания. Шарфюрер в Сибири под дождём и снегом.**

Егоров открыл дверь своим ключом.

– Сёма, ты пришёл?



– Я. – Сёма снял куртку, повесил на вешалку. – Сейчас сварю новой картошечки на обед.

Клементовский уже сидел в кресле с умным видом, читал через пенсне газету. При виде Семы встал и поклонился. Вёл себя спокойно согласно указанию Бога Живаго.

– Не позволяй Ирме тяжело носить ничего, да и сам не надсажайся сильно. Вам надо будет ребенка поднимать, а это лет двадцать работы. Включи газ сразу, пусть погорит, что-то я совсем замёрзла лежать, пусть квартира согреется, холодно и сыро у нас, чайник поставь греться.

Егоров разжег газ, днём конфорки горели гораздо лучше, чем ночью – соседи ушли на работу, никто от газа не грелся, налил чайник водой и поставил кипятить.

– Мам, тебе чай в комнату принести?

– Нет, на кухню пойду. Повязка спала совсем, напрочь. Что делать-то будем?

Сёма вошел в комнату и увидел, что мать, сидя на кровати, пытается натянуть на голову повязку из бинтов.

– Погоди, она ведь к волосам прилипла.

Взял ножницы и отрезал пряди, запекшиеся с кровью.

– Что будем повязку новую делать?

– А зачем? – уже засохло, пусть голова открытая будет, или сейчас причешемся и платочек повяжем.

– Завяжи, холодно как-то. Живот сильно болит, дышать сидя трудно, сколько у меня это ребро болеть будет?

– Не знаю, не врач.

– Нынче и врачи ничего не знают. Сёма, давай окно кирпичём заложим? От него холодом несёт, да и смотреть там нечего. Раньше хоть улицу было видно, а теперь как этот «афганец» поставил свой магазин – одна кирпичная стена от земли до неба, будто в тюрьме оказались. Давай заложим окно, может теплее будет?

Однако Сёма решил окно не закладывать, а забить старыми одеялами, чтобы не так дуло. Сказано – сделано. Забил окно, в комнате стало темновато, пришлось включить свет, как в камере.

«Что-то темновато у вас», – заметила участковая врач Горевая. Увидела пуховую шаль, завязанную на животе для починки ребра, расстроилась.

– Почему пояс не заказали?

– Шалью обойдёмся, – объяснила больная, – у меня же печень ещё, чего её поясом зажимать?

«Обойдёмся, конечно, – подтвердил Клементовский, – мы сами с усами, а то никаких денег не хватит болеть».

Горевая пожала плечами.

– Что же, ваше дело. Давайте измерим давление.

Давление оказалось в норме. Участковая быстро выписала рецепты и стремительно кинулась на выход, чтобы успеть к другим больным.

– Прежде врачи обходительнее были, – рассудила мать, когда сын вышел проводить доктора, – взять хотя бы Юферову, не малый человек – в депутатах Верховного Совета СССР пять лет пребывала, а с сессии из Москвы вернётся, и снова по своему участку бегаёт, как ни в чем не бывало, с больными разговаривает по человечески, на добрые, участливые слова не скупилась. Или Клементовский...

– Совершенно с вами согласен, – призрак выглянул из коридорчика, – исключительно душевные мы были люди.

– Ты, Сёма, в то окошечко рецепты давай, где пятьдесят процентов скидки с оплаты, я же ветеран труда Великой Отечественной, документ возьми, не забудь.

– Знаю, – Егоров побежал в муниципальную аптеку, имевшую окошечко для ветеранов, сунул туда бумажки, но оказалось, что таких лекарств, какие требовались, здесь нет.

– А где есть?

– Там, – указала фармацевт на соседнее окошко, – за полную оплату.

Сёма выкупил за полную.

– Конечно, – обиделась мать, когда он вернулся и рассказал ей об этом, – поди, толком и не показал удостоверение. Надо было поговорить с ними как следует, все обсказать в подробностях. Есть у них, есть, но мало. Кто стоит на своём, требует, скандалит, тот и добивается со скидкой лекарства, а ты, я знаю, как покупаешь: а, нет? Ладно, чего там, мы богатые, за полную стоимость купим. Сколько денег потратил?

– Тридцать семь рублей.

– Эх, ну как вы ребенка поднимать будете? Ладно, принеси воды, надо лекарства выпить. Вот оклемаюсь маленько, поставлю теста кислого, может даже завтра, блинов испеку, если смогу с утра подняться. Ирме отнесёшь, она любит блинчики. А сегодня давай картошечки поджарим на постном масле, с водичкой и лучком. Ты поешь со мной и домой отнесёшь Ирме с помидорами и огурчиками солёными, ей в охотку. Отведи на кухню, нечего залёживаться, ноги что-то прямо ватные, не чувствую их.

С помощью Семы дошла до кухни и сев за стол принялась чистить картофелины как всегда быстро.

– Во время войны один раз садила картошку за городом, от комбината землю давали. Возле самой дороги моя полоска проходила. Думаю: как хорошо – не ходить не искать, рядом. Сколько-то рассадила мелочи семенной, с пол мешка, не больше, сотки две всего было. Потом несколько раз ходила после смены: полола, окучивала. Выходных тогда не было. Пригородную целину запахали, трава так и пёрла. Ничего, в августе два ведра подкопала молодой картошечки, своих малолеток накормить в бригаде, купила на базаре бутылку подсолнечного масла, начали жарить, а чего-то не так пахнет, оказалось в бутылке не масло, а олифа.

– Выбросили картошку?

– Нет, съели. Все подчистую, никто не отравился. Потом они мне говорят: тётя, мы с тобой картошку пойдём помогать копать, и в костре

будем печь. Тетей меня звали, а мне двадцать два года тогда было. Ну им то вообще по четырнадцать – пятнадцать девчонкам детдомовским.

– Большой урожай был?

– Нет. Копать поехали на машине от нашего комбината, вместе со всеми и с ребятами, но моя полоска оказалась уже выкопанной, крайняя была у дороги, кто-то раньше постарался.

– И что?

– Ничего. Домой пошли не солоно хлебавши. Больше в войну картошку не сажала, с базара брала. Ставь сковороду на огонь, и масла достань из холодильника, хорошо запас иметь. Ты Сёма всегда старайся в хозяйстве запас иметь. Раньше холодильников не было, многое продуктов портилось, теперь люди экономнее живут.

Сёма посолил нарезанную соломкой картошку, вывалил на сковороду, закрыл сверху крышкой.

– Да, теперь время другое, теперь бы только жить да жить, все есть, а время уже вышло. Запаха пищи не ощущаю и сил мало в теле осталось, ничего не надо, вот раньше если упаси боже летом не подбелила квартиру, то все нет мне покоя, надо стены и потолок освежить, ночь спать не буду, а сделаю, подоконники подкрасишь, рамы, двери, домик на мичуринском ремонтируешь, и все надо, надо, а теперь раз – и не надо больше стало, как отрезало. Переработала я, наверное. Зачем после выхода на пенсию еще пахала? Никакого желания не осталось ни к еде, ни к работе, и даже странно вспоминать, что вертелась, белкой в колесе. К чему? Ты садись, ешь, я не хочу. Вкусно?

– Да.

– Такую бы во время войны нажарить, и чтобы досыта всех накормить наших комбинатских девчонок, вот это я понимаю! Ты, небось, надо идти работу искать? А я тут разболталась не ко времени. Ну иди, иди с богом!

На улице лил осенний дождь, порывы бешеного ветра легко ломали зонтиков у прохожих. Сёма зонтика не имел: поднял воротник старой кожаной куртки, сгорбился стоя на остановке. В троллейбусе отдал три рубля, сидячих мест не оказалось, мокрые пассажиры стояли впритирку друг к другу, окна от мокрого тепла запотели, троллейбус плыл неведомо куда.

В здании бывшего ДОСААФ, ныне называвшемся РОСТО, кроме военно-спортивного общества располагались несколько магазинов. РОСТО существовало за счёт сдачи своих площадей в коммерческую аренду и судя по стенам, отделанными бельгийскими пластиковыми панелями под мрамор и новому паркетному полу, жилось добровольному обществу по соседству с магазинами очень неплохо.

Особенно восхитило Сёму немалое помещение вахтёрской, отделённое от коридора стеклянной перегородкой, за которой виднелся чёрный кожаный диван, не какой-нибудь списанный, протёртый до дыр, нет совершенно новый, аж блестит весь! Шкаф тоже новенький, стол с лампой и телефоном, стены под дуб, в общем это вам не какая-нибудь драматическая пожарка с

трубами – кабинет явно под стать всем прочим помещениям на уровне приёмных сталинских времён партийца средней руки.

За стеклом пребывала блондинка тоже средних, самых производительных женских лет чисто арийской внешности, в чёрной юбке, белой блузке с чёрным галстуком, с глазами шарфюрера гестапо, пытавшей радистку Кэт, вынося её младенца на холодный балкон.

Вот где порядок! – обрадовался Егоров, которому невероятно надоели вонь театральных пожарок да гнилые консервы магазина речного флота, – армия нигде не сдаётся! Даже в добровольно-спортивном обществе, особенно, если её возглавляет наш старый знакомый полковник Петухов. Ишь какая ковровая дорожка мимо вахтёрской по коридору пролегла! И от самого входа! Ничего себе! Для парадного марша начальства, не иначе.

Впрочем и Егоров с чего-то не удержался, отмаршировал бодро, по строевому метров семь вслед за женщиной-завхозом.

– Молодой ещё мужчина, – с чувством глубокого удовлетворения констатировала заместитель председателя по хозяйству и снабжению Людмила Ивановна, – чуть бы пораньше пришли, так я бы вас в отдел взяла на оперативную работу. Тут у нас преподаватель физкультуры на днях явился, тоже сторожем возмечтал устроиться подальше от своих школьников-архаровцев. С высшим образованием в сторожа! Вот что значит довели человека: не знает куда кинуться. Я взяла его в отдел. Так-с. А сторожа у нас мало получают, всего тысячу двести рублей в месяц. Дежурить сутки через трое. С девяти утра до девяти утра.

Охранять надо два входа, там ещё магазины есть. Наше РОСТО закрывается в шесть вечера, а другие продолжают работу: мебельный магазин до семи, ателье меховой одежды до восьми, ателье «Любавушка» до девяти неизвестно чем занимается, говорят, что шторы шьют. Ну да бог с ними, раз тихие. Диспетчера такси «Сибирское» раньше круглосуточно находились, однако стали устраивать пьянки и наш полковник эту лавочку прикрыл. Чтобы в десять вечера все выметались под чистую, под вашу личную ответственность, затем закрываете все двери и дежурите один, никаких посторонних. Таков приказ. Круглосуточно надо контролировать помещения, чтобы не пили и не курили, поэтому вы не сторож, а дежурный. Ну, согласны? Да, чуть не забыла, ещё у нас ворота есть, надо за ними следить, за это доплачивается сто рублей.

– Согласен, – чётко, по-военному ответил Сёма.

Были бы хорошие ботинки, он ещё и каблуками бы прищёлкнул. Беда, когда обувь худая: правая подошва треснула пополам, промокает, дрянь такая. Ничего, отработает Семён месяц дежурным, купит на первую зарплату рублей за шестьсот хорошие зимние уже ботинки, тогда и начнёт ходить-расхаживать по ковровой дорожке и щёлкать каблуками, приветствуя начальство.

Заполнил наиподробнее анкету, будто для поступления в космонавты, с грифом «особо секретно», следом написал заявление начать работу с завтрашнего дня. Начальница хозотдела внимательно прочла его

документы, потом несколько раз выбегала из кабинета дробно стуча каблучками по паркету молоденькой институткой – спрашивать разрешения войти к председателю, наконец получила добро и отвела Сёму на приём к полковнику – председателю РОСТО. Курчавый полковник в погонах с тремя очень крупными золотистыми звёздами тоже долго разглядывал трудовую книжку, вздохнул и глубоко задумался, усмотрев за окном кабинета некий беспорядок в виде первых снежных вихрей.

Заместительница сидела вытянувшись в струнку, глядя прямо перед собой в «никуда». Сёма тоже не прерывал десятиминутного размышления. Даже Клементовский не решался вякнуть, слонялся тенью исключительно вокруг полковника, разглядывал его голову в кудряшках, явно рылся, зараза такая, в мозгах, с целью разыскать какую-нибудь государственную тайну, но ничего путного не находил и кривил рот набок учёным телевизионным психоаналитиком.

– Ну как, берём? – спросила вдруг завхоз по истечению только ей ведомого необходимого временного отрезка.

Полковник медленно кивнул, погружённый взглядом в снежно-дождевую колдовороть.

– Завтра с девяти заступите на дежурство, – уже в приказной форме сообщила завхоз, – тогда и оформим окончательно. А теперь ступай к дежурной, пусть проведёт инструктаж по ключам, дверям и общему распорядку.

Не успел, однако, Сёма выпросить у коллеги подробностях будущей службы, где-то на улице просигналила машина и сторожиха-эсэсовка, глянув через специальное окошечко во входной двери, проронила скороговоркой: «Машина председателя пришла, пойду открывать», выскочила на улицу и побежала скоренько под дождём, который разошёлся не на шутку, без зонта в туфельках, в чём была, горбясь и ёжась узкой спиной совсем не по шарфюрерски.

Сёма смотрел в окошечко. Метрах в ста подъезд к зданию преграждал шлагбаум, то есть когда Сёма шёл сюда, он принял его за красно-белый шлагбаум, а на самом деле это были две полосатые трубы на петлях, соединённые в центре цепью с замком, те самые ворота, о которых говорила Людмила Ивановна, за открывание которых, по её словам, хозяева мебельного магазина доплачивали сторожам по сто рублей.

Дежурная подбежала к чёрной волге, сняла цепь, ворота разъехались в разные стороны и когда машина поехала мимо к зданию, вытянулась во фронт, даже спинка мокрая прогнулась от служебного рвения. Чего так-то уж? Не в армии, небось, на гражданке. Тянется, будто честь изо всех сил жаждет отдать. Ну от Сёмы фиг дождётесь! Он срочную отбухал в кирзачах, сверхсрочной нам не надо!

Волга остановилась перед крыльцом. Дежурная закрывала ворота, прыгая австралийским кенгуру в попытках свести полосатые трубы вместе. Трубы разъезжались в разные стороны. Наконец ей повезло, воссоединив

шлагбаум и замотав его цепью, вернулась некрасивой семенящей прискочкой обратно, вымокнув до нитки.

– Вы бы зонтик с собой брали, – посочувствовал Сёма.

– Посмотрю я на тебя, как с зонтом сможешь ворота свести, – ответила эсэсовка злобно.

– Это за них доплачивают сто рублей?

– Конечно.

Вымокшая сторожиха-дежурная вдруг распрямилась, глаза её перестали жаловаться на жизнь, засияв непроницаемо-стеклянным блеском служаки шарфюрера, она снова вытянулась по стойке смирно.

Мимо прошли полковник с заместительницей. Дежурная кинулась следом. Пока начальство усаживалось в машину, успела добежать до ворот, открыть их, замереть на вытяжку возле края дороги, ожидая выезда. Причёска белокурой бестии быстро седела, покрываясь снежинками. Повторив кенгуринные прыжки по закрыванию ворот, вернулась на своё место, за стекло.

– Часто бегать приходится?

– Во-первых, председателя машина туда-сюда ездит, еще у нас есть пара других машин, ещё гости-вояки приезжают, им тоже открой-закрой, да браконьерствуют многие, сбросят цепь, заедут на территорию и свою машину оставят как на стоянке. Днём на ключ не закрываю, сходишь – закроешь, они выедут и снова не закроют, иди – закрывай. Полковник требует. Мебельщики – молодцы, сами себе и открывают и закрывают. Остальные господами ездят. Вам сколько зарплату пообещали?

– Тысячу двести.

– Врут. Сотню платят за суточную смену. Всего в месяц набирается семь или восемь дежурств, плюс сто рублей за ворота, вот и считай – в лучшем случае девятьсот рублей. Я вообще-то продавцом работаю, а здесь только подрабатываю – деньги нужны очень, потому и терплю.

– Больше сторожам нигде не платят, – со знанием дела констатировал Сёма. – Но вот бегать туда-сюда спину гнуть перед полковниками, во фронт тянуться не согласен. В армии срок отбыл, с меня достаточно.

И пальцем погрозил сквозь стеклянное окошечко.

– Если не тянуться, придирками замучают, а когда тянешься – ничего, улыбаются, шутят даже как со своим человеком.

– Дрессируют, известное дело.

Дождавшись завхоза, отказался от службы.

– Почему так? – удивилась Людмила Ивановна. – А мы на вас так рассчитывали. Подвели вы меня, товарищ Егоров. Причину объясните, пожалуйста.

– Причина обычная, как геморрой. Вы сказали, что я должен всех выгнать, чтобы в двадцать два ноль- ноль запереться на замки и дежурить ночь один. А я не могу один. Ко мне покойник знакомый приходит почти ежедневно, нет-нет да наведается, гад паршивый, любит на мозги капать, вот и сейчас он уже здесь, в этой комнате пребывает. Клементовский, ты здесь?

– Само собой разумеется, – меланхолично ответил призрак, но завхоз почему-то вздрогнула, будто расслышав. – Где ещё быть прикажете? К тебе, Сёма, навечно привязанный, эх, жисть моя собачья. Повыть слегка не прикажете? Пужну, однако бабёночку, пора устроить ей баньку с припарком, надоела она мне хуже горькой редьки.

Завыл тут Клементовский по волчьи сразу на три голоса, а Людмиле Ивановне вдруг нечто сумеречное померещилось, глубоко памятное и очень неприятное одновременно, о чём, вроде бы давно забыто: зимняя морозная ночь, голубые лунные сугробы, бредёт она одна-одинёшенька по колёно в снегу через пространства безлюдные тёмные неизвестно куда и с какой целью... толи с деревенской свадьбы из чужой деревни среди ночи сбежала и заблудилась, толи в горе великое, словно в прорубь ледяную упала, а может то и другое вместе. И чувствует, что замерзает уже, хотя щекам горячо от слёз, а позади тени длинные быстро скользят, догоняют, непонятно, облака ли по небу летят, звери ли по снегу...

Бывает среди бела дня в самом обычном служебном помещении такой человеку беспредельный ужас привидится, что кабы не была зампредом ДОСААФ по хозяйности, крестилась бы и крестилась да об пол поклоны била покаянные сутками напролёт, на капельки не жалея припудренного небольшого прыщика на лбу, вовсе о нём позабыв.

Желая избавиться от неприятного укола в сердце и скорее отринуть горе-несчастье, каким-то боком определённо связанное с нынешним неудачным претендентом на вакансию дежурного, Людмила Ивановна размашисто черкнула в его бумажке резолюцию, что безработный Егоров им ни с какой стороны не подходит по состоянию здоровья.

То-то инспектор Нэлли Викторевна взъерится, прочитав сию резолюцию!

## 19.

**Дырявые ботинки покончили с бюро трудоустройства. Обещания пьяного президента. Кулёк с деньгами от банкира.**

С приходом ноябрьских морозов походы в бюро трудоустройства за получением адресов вакансий пришлось прекратить по двум судьбоносным причинам сразу.

Причина первая: пособий безработным по-прежнему не выплачивали, начисляя деньги в какие-то будущее-прошлые вневременные фиктивные списки, которые когда-то кому-то несомненно будут выплачены полностью до последней копейки, но само собою разумеется не ему, Сёме, стопроцентно. Не тот он инвалид, с государственной точки зрения, чтобы получать пенсию и не тот безработный, чтобы не имея работы жить на пособие. Сёма же решил, что он им не савраска для неизвестно чьего дяди бегать, ноги бить просто так.

Здесь крылась вторая причина чисто материального плана: от беготни из конца в конец города порвались последние ботинки, причём самым

дурным способом, какой только можно выдумать – те самые толстенные синтетические подошвы, которым, как казалось, сноса не будет, вдруг треснули пополам теперь и на правом и на левом. Он кинулся было в ремонт, где ему пожилой мастер с дотошностью любящего поговорить человека долго и подробно объяснял, что это нашу обувь можно чинить до бесконечности, пока не превратятся сапоги в лапти или, к примеру, в валенки, а импортные ботинки обязательно имеет конкретный ресурс жизни, после которого их можно смело выбрасывать, потому что ни на что абсолютно не годятся, один прах и пепел. Однако выбрасывать ботинки Сёма не решился, так как на новые не было денег.

В октябре он передвигался очень осторожно, место, куда ступить, вернее прыгнуть с одного относительно сухого пятка на другой не очень мокрый, выбирал посуше, а всё равно ноги скоро намокали. На ноябрьском же морозе стельки внутри ботинок не только мокли от снега, но уже замерзали в лёд.

Ну месяц без толку проходил, два, три, сколько можно шляться, выслушивая критические замечания Нэлли Викторовны, с каждым последующим визитом становящиеся всё ядовитей.

Платиновую блондинку-чиновницу прекрасно можно понять: всеми доступными средствами она выполняла свой план работы, то есть пыталась избавиться от Сёмы, переведя его из разряда безработного в работный, или пусть просто перестал бы приходить в службу занятости, где его шпыняют и ругают, тогда тоже можно зачислить в работные, правда без указания места трудоустройства, но главное план выполнить.

И Сёма вняв ядовитым насмешкам, перестал ходить в бюро, занявшись подготовкой к зиме холодной, голодной, безденежной.

В добавок к картошке на материнскую пенсию купил тридцать вилок капусты на базаре, с матерью посолили: все банки трёхлитровые, что имелись в подвальном хозяйстве той капустой наполнили, даже кадушку старенькую использовали под такое дело.

«Щи будем с капустой и картошечкой хлебать, не умрём, перезимуем, – радовалась мать, – всё необходимое теперь есть: картошки много накопили, капусту слава богу посолили, моркови со свеклой купили целый мешок, масло постного полфляги с каких еще времён стоит. Лука не купили, жалко, но луг нынче дорогой, его можно понемногу в киоске брать. На хлеб с молоком пенсии хватит, скажи Ирме, чтобы не расстраивалась, переживём зиму, чай не война, голодовать не будем».

Подсолнечное масло и точно запасено было давно, куплено из бочки на разлив, хранилось подсолненное в темноте и прохладе погреба вот уже несколько лет и лишь чуток горчило. «Но не олифа же, – думал Сёма, – вполне пригодно, чтобы картошку жарить».

Ирма сильно не расстраивалась, так, переживала слегка. Кроила халаты и кроила, вся комната в материале, нитках, готовых полуфабрикатах, Сёме приткнуться негде. Когда переставала кроить, присаживалась на стул, молчала-молчала, начинала громко рыдать.



Сёма тут же срочно собирался и убежал к матери – лежачей больной, помогать ей жить, надеяться и верить в рождение внучки. Главная неприятность заключалась в том, что в маминой квартире холодно: батареи ни черта не греют, а на улице холодает день ото дня.

У бывшего сослуживца Сёма выпросил старый тэн от системы водяного отопления, приделал к нему провод, штепсель и стал включать в розетку, водрузив сооружение на стальных полозьях своих детских санок, принесённых с подвала и установленных на полу посередь комнаты. Тэн нагревался, гудел, за пару часов работы раскаляясь так, что в темноте ночи делался красным, но воздух согревал, в комнате становилось теплее.

Матери, однако, тэн не пришёлся по душе. Она жаловалась, что «вертолёт» сжигает весь воздух и ей нечем дышать. К тому же она боится оставлять его включённым на ночь – вдруг начнётся пожар? И ещё он так много киловатт жжёт, что ей пенсии на одно электричество не хватит. Поэтому на ночь Сёма тэн всегда выключал, уходя домой накладывал на мать поверх одеяла еще два её пальто, а утром раненько прибежал обратно, включать самодельный обогреватель, варил на газе завтрак, грел чай, чтобы обогреть комнату. Конечно, были бы деньги, можно купить в магазине нормальный комнатный обогреватель. Да кабы деньги, можно и ботинки купить, но в том и дело, что на такие покупки денег не было, только на самые простые продукты.

К хозяйственным заботам Егорова Клементовский относился прохладно, если не сказать пренебрежительно, критиковать сильно не критиковал, но губы постоянно надувал. Во время засолки капусты надоедливо жаловался, что от одного вида этого продукта, у него, старого интеллигента, страшно болит поджелудочная железа и отчего он, собственно говоря, должен терпеть подобные муки? Что такое мороз призрак в принципе не понимал, вплоть до своей смерти проживал где-то в теплом климате, а нынче ему что мороз что жара – всё едино. Единственно, чего Клементовский опасался серьёзно, был жар церковных свечей. Стоило Сёме подумать о подобном наказании, тотчас переставал дребезжать, растворялся где-нибудь под столом или даже стулом, в юрок ниток заматывался, возможно просто делая вид, разыгрывая перед Сёмой очередной спектакль смеха ради, шоу своё разлюбезное ставил.

Найти работу не удавалось и собственными силами, даже подработка на базе, связанная с погрузкой-разгрузкой машин не приносила денег. Снабженцы предпочитали расплачиваться водкой, Сёме водка совершенно ни к чему, ему нужен хоть какой-нибудь заработок для поддержания жизни, дорожающей с каждым днём.

Картошка – вволю, конечно, неплохо, но в добавок к ней хорошо бы иметь хлеб и молоко, платить коммунальные за комнату, телефон, электричество. А денег не было ни на что, ни у Сёмы ни у Ирмы. Пенсию матери вдруг начали задерживать. За октябрь не принесли и за ноябрь не несут, одна отговорка – в фонде нет денег.

Мать по-прежнему не поднималась с постели и почти ничего не ела – не хотела, дать Сёме денег или продуктов, как делала раньше не могла, ни того ни другого у неё нынче не было. Она страшно расстраивалась по этому поводу, что именно во время беременности невестки не на что оказалось купить творог, яйца, мясо, рыбу, овощи: «Хуже, чем в войну». Ну как же так, почему? – задавала она вопросы Сёме, – куда они эти стариковские деньги девают?

Сёма пожимал плечами. Мать несколько раз пыталась звонить в Пенсионный фонд, торопилась, пока собственный телефон не отключили за неуплату, но там всегда было или занято, или трубку не брали, потом вообще сменили телефон, чтобы пенсионеры не мешали работать.

Она включала радио, слушала, что говорят. По радио выступал больной сердцем Президент России. Надрывным, пьяным со слезой голосом просил многострадальный народ потерпеть ещё маленько: в будущем году всё обязательно наладится, руку сулил на отсечение, но как-то чересчур легко, тем самым давая понять, что врёт под чьим-то пистолетом, сидит, взятый в полон. А новости по радио дикторы передавали странные, неслыханные никогда прежде, до демократии, прямым текстом говорили лишь немного принижая голос, как президент прилетел в одну соседнюю страну, а выйти из салона к встречающим не смог – спал беспробудно пьяный, не смогли поднять. Оконфузился. Или будто бы на приёме напился до того, что упал лицом в салатницу.

– Подонок он, а не президент, – объясняла зашедшая в гости Полыхалова, никогда ни во что не верящая, кроме бога, ни в президентов, ни в царей, ни даже в патриархов, – воруют и пьют, пьют и воруют, толку не будет. Без толку с таким правителем терпеть, пока всё не разворует окончательно, на пенсию не будет денег, только на виллы в Испаниях.

Поняв, что на пенсию надеяться бесполезно, мать решила продать отцовские фронтовые награды, что было так же было делом противозаконным, ибо по закону награды оставались навсегда в госсобственности, а героям и семьям лишь позволялось сохранять их пожизненно. Однако бабка твёрдо решила продать пролитую кровь, чтобы достать денег для Ирмы и ребёнка, это ей казалось важнее славы и доблести минувших лет, законсервированных в кусочках металла, эмали и золота, которые она всегда ценила больше всего своего достоинства. На прочее достоинство не было нынче покупателей, а на ордена были.

Сёма выступал против продажи, его никто не подумал слушать. «Подошёл край, деваться некуда, дети дороже орденов».

–Какой ещё край? – посмеивался Клементовский, – края настоящего в глаза не видали. Если нужны деньги, Сёма, попроси только, могу обеспечить любую сумму, пойдёте в магазин и купите всё необходимое. Странно из-за отсутствия каких-то бумажек портить себе жизнь.

Сёма прежде отказывался от предложений барабашки улучшить материальное положение, но сейчас, когда пришла пора продать орден военных лет, согласился рассмотреть предложение.

– Воровство, небось, какое задумал? На дело зовёшь, терапевт? Учти, не выйдет!

– Какое воровство, что вы? Разве могу своему Богу Живому предлагать такое? Сами принесут деньги, ещё поблагодарят, спасибо скажут и в пояс поклонятся.

– На тарелочке с голубой каёмочкой или в чёрном дипломате?

– Зачем нам тарелки? Ни в коем случае не надо, в бумажном кулёчке притащит, в каких конфеты в магазине прежде заворачивали раньше? Небось забыли?

– За что?

– За одно то, что ты есть. Бог наш Живой! Понял? Едем к банку посмотреть насколько уважают язычники Бога Живаго.

Так были нужны деньги, что Егоров как по команде отправился к ближайшему банку, как велел ему Клементовский, шагавший рядом и трещавший без умолку, что он для Сёмы вывернется наизнанку по первому требованию, неплохо было бы и Богу Живому немного поспособствовать рабу своему, откликнуться на молитву его. «Постой здесь, на крылечке, подожди малость, сейчас вынесут деньги».

Из дверей почти сразу вышел господин весьма представительной наружности, направлявшийся к большой чёрной машине, стоявшей на стоянке для служебного транспорта. Когда проходил задумавшись мимо Егорова, будто током его ударило, так сильно вздрогнул, кинул на Сёму взор и лицо озарилось солнечной радостью: вспыхнуло, зарделось, как у красной девицы, да видно не часто подобное с ним случалось, отчего господин даже ладошки к щекам приложил, охлаждая: «Ой, как же я забыл про бумажку для кулёчка, извините», – сказал он почему-то Егорову.

Резко развернулся на месте и убежал обратно в банк, где пробыл совсем недолго, минут пять, после чего вышел обратно, на самом деле прижимая к груди большой бумажный кулёк и блистая в адрес Егорова радостными, со слезой, глазами. Тут же на крыльце торжественно вручил, за что-то горячо от всего сердца поблагодарил и предложил подвезти куда пожелают.

В кулёчке насыпью лежали пачки денег в банковской упаковке. Сёма от транспорта решительным образом отказался, после чего господин смущённо раскланялся, запрыгнул в свой внедорожник и укатил, а Сёма остался стоять на месте с кулём в обнимку, как вкопанный. Прижимая к груди, будто новорожденного. Слишком много было денег, гораздо больше, чем ему требовалось.

«Дают – бери, бьют – беги! – посоветовал мнимый терапевт, – иди домой и ни о чём не думай».

Однако Сёма продолжал стоять, испытывая жуткие угрызения совести: деньги чужие, им не заработанные, наверняка Клементовский мозги

прохожему банкиру запудрил, а ему, Сёме, потом всю жизнь маяться. Нехорошо, воровство получается.

Под вопли миража, он положил кулёк на крыльцо и медленно побрёл прочь от банка. Вдруг за спиной резко взвизгнули тормоза, то на стоянке нарушив разметку как попало поперёк остановился прежний внедорожник, из которого выскочил банкир, имеющий вид несколько дикошарый, оглянулся по сторонам, Сёмы не увидел, зато заметил на ступеньке свой кулёк и стал подкрадываться к нему осторожно – осторожно, словно боялся, что тот сейчас исчезнет, растаяв в воздухе без следа. Прыгнул, схватил, заглянул, издал дикий торжествующий вопль, моментально пропав за банковской дверью.

«Хоть ты и бог, но дурак отменный», – сказал раздражённый призрак, – с первого дня своего рождения не люблю дураков, было бы можно, отстегал тебя прутом, жаль не могу».

Сёма расхохотался и даже не пригрозил в ответ свечкой.

Когда пришёл к матери, оказалось, что деньги уже нашлись, знакомый спекулянт купил орден за пятьсот рублей: «До Нового года протянем обязательно, – радовалась мать, сидя на кровати. – Что я буду говорить тебе, Сёма, то ты и будешь покупать для Ирмы. Главное, чтобы дома не переводились молоко и творог. Мясо и рыба тоже, как и овощи. Апельсины ей надо покупать и яблоки. В яблоках железа много, ты зелёного цвета бери, «семеринку», они полезнее. Каждый день будешь ходить на базар и покупать свеженькое понемногу. Понял, Сёма?»

Сёма соглашался, в свою очередь предлагая матери вызвать такси и поехать, наконец, в больницу сдать анализы, направление на которые дала участковый терапевт Горевая.

–Пятьдесят рублей на такси тратить? – изумилась мать, – в такие-то времена?

– Но ведь сама не дойдёшь.

– Значит и обойдёмся без диагноза. По диагнозу назначат лекарства выкупать, деньги истратим. Потом как-нибудь съезжу, пенсию, дай бог дадут, тогда свозишь меня. А на Новый Год придёте с Ирмой ко мне в гости. Будем праздновать, очень я по Ирме соскучилась. Устроим пир горой: курицу купишь, натушу с капустой и шампанского возьмёшь бутылку. Ёлку покупать не будем, но как начнутся ёлочные базары, ты, Сёма, пару веточек подбери со снега, в комнате поставим для новогодней атмосферы. Ладно?

– Ладно.

Однако в больнице Сёма при посредстве участкового упрямил медсестру прийти к ним домой, взять кровь для анализа болезни. Та очень не хотела, говорила, что работы у неё выше крыши бесплатной. Егоров и рад бы оплатить, но своих денег нет и на продукты мать выдаёт чуть не под расписку, желая обеспечить питанием Ирму, дотянуть до Нового года.

Медсестра всё-таки пришла. Случилось это, когда Сёмы не было дома. Когда пришел – видит у матери обе руки с тыльной стороны в синяках, не могла вену найти, все кисти исколола. Пошел на завтра Егоров за

результатами, но в регистратуре их не оказалось: «Направления кто давал? Горевая? Она сама анализы забирает, к ней идите». У Горевой результатов тоже не оказалось. И в лаборатории отсутствовали. Завалились куда-то под стол, или вовсе их не сделали. Значит, всё-таки надо старухе самой ехать в больницу сдавать. «Потом, – сказала больная, – вот выплатит Ельцин пенсию когда-нибудь, будут деньги, наймём такси, тогда».

## 20.

### **Новый год с тушеной капустой и курицей, но без ёлки и драки.**

Перед Новым годом Егоров принялся уговаривать жену встречать праздник у его матери. К его удивлению, сделать это оказалось не так трудно, как он предполагал.

Ирма не возражала против совместного проведения праздника, единственно хотела, чтобы не надолго идти, часиков до девяти и обратно. Впрочем, Сёма, если хочет, может остаться и до двенадцати ночи, может даже заночевать там.

– Ненадолго и вернёмся, – обрадовался он, – и давай говорить ей, что ребёнок наш общий, чтобы не волновалась. – Она болеет, к чему человека расстраивать?

Ирма и с этим согласилась.

В семь часов собрались и пошли в гости. На улице совсем темно, практически глухая ночь с крепеньким морозцем под тридцать. Редкие прохожие спешили по домам. Одни лишь одетые в тулупы продавцы ёлок неторопливо прогуливались по вычищенным тротуарам меж высокими сугробами, в которыми длинными тёмными аллеями были воткнуты десятки непроданных ёлок. Продавцы походили на Дедов Морозов, только без мешков с подарками.

Сёма внимательно смотрел под ноги, но нигде не валялось ни веточки, даже еловой лапки не темнело на искристом снегу. Чисто, под метёлочку. Вот незадача. Мать просила для атмосферы праздничной принести, да где же взять, если кругом чистота и порядок? Веточки еловые самые пустяшные и те продают за деньги.

Одетый в светлый с блёстками костюм и жёлтые штиблеты с красными длинными носками пижонистый Клементовский порхал над верхушкам вечерних сугробов, взмахивая руками на манер юной балерины, изображавшей бабочку, попутно нюхая колючие плоские ёлки, привезённые на огромных камазах за две сотни километров, спрессованные в плоскости с восхищением, как если бы те были роскошнейшими букетами июньских пионов или даже самыми настоящими кустами цветущей магнолии.

– Сейчас шоу выстрелим Новогоднее: голубой огонёк, а то скукота. Такой мордобою меж продавцами полыхнёт, пальчики оближете! После

сражения на сто квартир хватит новогодней атмосферой – успевай ветки подбирать. Ёлками драться будут, ладненько?

– Попробуй только, мигом угоришь на свечке.

– Эх, вот где скука-скушная по свету шлялася и случайно на нас набрела. От куля денег отказался, от ёлок для мамочки любимой тоже, совершенно не блюдёте интересы семьи, скажу я вам. Ах, как бы здорово дровосеки сошлись стенка на стенку – любо дорого посмотреть! Ладно, ладно, не обижаюсь ни грамма. Вместо того предлагаю чёртовой Ирме устроить грандиозное падение на скользком месте с последующим выкидышем. Соображай быстрее, боже всевышний, где спать будешь, когда третий в комнате появится? А шуму, а визгу, а плача, на фига нам это с тобой надо? У выкидыша, небось, какая-никакая душонка имеется, запрыгу её и полетим куда подальше от тебя? Ась?

Прицепил Сёма пижона к верхушке самой высокой ёлки сосулькой разноцветной: «Вот тебе шоу, крутись сколько влезет!». Пришлось крутиться, пуская лучики на разные стороны, горлопаня как с тусовочной телепередачи крепко наподававшийся ведущий: «Продаётся ель трёхметровая с шоу-привидением в придачу, цена сто рублей комплект. Торопись, налетай – покупай чудо-юдо дивное: коли в Новогоднюю ночь под ёлочкой уснёшь, сон приснится – во век не забудешь, коли утром добудятся».

Встречать невестку свекровь поднялась с постели, обняла, чуть не расплакалась от счастья. Не знает куда усадить, чем угостить. По телевизору уже показали, как шествует Новый год на Дальнем Востоке, выпили за компанию с курильскими соотечественниками советского шампанского, отведали курицы тушёной с капустой, поговорили на тему, как хорошо будет жить в Новом году, когда внучка на белый свет явится. Замечательный ожидает их год, самый наилучший в жизни, – утверждала будущая бабка, – только бы дожить, только бы дождаться, увидеть, а потом и помереть не страшно.

Сама и точно чуть жива, в чём только дух держится, как только смогла всё сготовить – просто удивительно. Похлопотала с полчаса вокруг Ирмы и силы её покинули прямо на глазах гостей, еле дошла до постели. Встретила Новый год с благой вестью, осталось теперь только ждать да верить.

Сёма сам перемыл посуду, поставил стол на место к стенке, и распрощавшись с матерью, закрыли они её на ключ, отправились домой под ручку, забрав с собой все угощения – дальше праздновать, а бабка осталась лежать в тёмной комнате невероятно счастливая.

## 21.

**Инвалидная баталия с леопардом-параноиком. Спасение симпатичной брюнетки - хористки.**

После Нового года общество инвалидов начинает собирать взносы со своих членов.

Общество нуждается в членских взносах, которые поступают из рук вон плохо, а Сёма нуждается хотя бы в четырех сотках под картошку.

Без своей картошки никак не прожить. Если брать зимой по ведерку на базаре, почему-то всегда попадается подмороженная, а иногда одновременно с тем ещё и гнилая, чего только не сыпанут из автомобильного багажника по-быстрому в сумку на морозе. Пробовать на зуб не будешь. А стоит такое удовольствие дорого сорок – сорок пять рублей небольшое ведро. В лучшем случае – сладкая получается, пока с базара до дома добежишь, даже самая хорошая картошка успевает в сумке подмёрзнуть. Суп сладкий, пюре сладкое, что за радость в приторной жизни?

Если с осени закупать оптом и засыпать на сохранение в погреб, конечно, дешевле выйдет, однако чужая – она чужая и есть. Гниет, собака, со страшной скоростью. Ведро набираешь – два выбрасываешь, оно то на то и выходит, что в результате большую часть на помойку оттащишь, а по весне один кисель в закроме остается, и снова есть нечего. Нет, своя она своя и есть: лежит нормально, не гниет.

– К инвалидам завтра пойду, – сказал Сёма матери, ища последнего совета, уплачу годовой взнос. Тогда земля будет под посадку. Говорить, что ВТЭК зарезал мне инвалидность не буду, авось билет не потребуют. Если потребуют, скажу, что дома забыл и больше не пойду.

Мать снова не вставала с постели. Ей казалось, что и Сёма такой же слабый нынче, как она, уставший, ходит через силу.

– Не сади ты её, ради бога. Опять придётся грузовик в одиночку грузить, надорвёшься в конец. А внучка родиться, кто её носить будет на ручках? Для семьи береги силы, лучше работу какую-нибудь найди с зарплатой. Умру я – без денег совсем останетесь.

– А как без картошки остаться? – воспротивился Егоров.

– Не бережешься Сёма, вот погоди, пройдет время, помянешь мои слова: не получится в этом году толка с картошкой. Дам вам денег на покупку картошки, скоплю и дам. Нынче почти не ем ничего, накоплю к осени. Клементовский тотчас ожил в кресле, где прежде сидел муляжом.

– Бестолочи! Картошку сажают, пашут, жнут, чёрти что делают! И никакого толка! Толи дело мы, клоны! Живём яко птички божия: не сеем, не жнём, будет день – будет пицца!

Однако Сёма остался при собственном мнении, отправился в общество инвалидов утром в пятницу, так как большая железная тамошняя дверь без ручки отворялась лишь по вторникам и пятницам – дважды в неделю.

Свежевыпавший с утра снег пышными белыми попонами высился на загривках сугробов вдоль дорог. Машины не успели забрызгать копотью их ночную белизну. Дисциплинированные дворники центральных улиц расчистили тротуары большими дюралевыми скребками. Воздух после снегопада свежий и холодный.

Общество располагалось в старой двухкомнатной хрущёвке, на первом этаже, куда с торца здания пробит отдельный вход с абы как сварганенной

железной дверью. К нему ведёт лестница из бракованных бетонных плит без перил, на которую инвалиды взбираются с опаской. Сразу за входом в полу под ногами дыра из-за двух прогнивших досок, которая прикрыта другой, более широкой не струганной доской, лежащей поверх линолеума.

Сильно пахнет кошками и гнилыми овощами, как в хранилище. Овощи выделялись спонсорами и распределялись между членами по потребностям и в зависимости от меры участия в общественной работе. В комнате, заваленной коробками со старыми книгами – «библиотекой» несколько человек сидело вокруг стола, за которым Сёма разглядел председательницу – Тамару Георгиевну, пожилую, плохо слышащую женщину на седьмом десятке, имеющую командирский бас.

– А Сёма, проходи, давно тебя не было видно, – рявкнула она, оторвавшись от разлинованного журнала, куда что-то записывала.

Возле стола сидел инвалид детства Володя, болевший церебральным параличом, лет тридцати пяти. Он втащил одну худую ногу на другую, и помахивал разодранным ботинком, как человек, которому спешить абсолютно некуда. Кроме него в комнате у окна расположился мужчина средних лет в коричневой искусственной женской шубе, его Сёма знал как сторожа на картофельном поле, а также две женщины, стоящие в напряженных позах, одна у стола, другая почти у дверей.

– Послушай, Сёма, нам в спортивную команду надо человека, – сказала председательница, – скоро планируются соревнования на выезде, на всем готовом, в шахматы хоть сыграй, съезди... Пробежать немного, метров сто сможешь? Не хватает участников. Ты же играешь в шахматы?

– Он играет, – сказал Володя, бессменный спорторганизатор.

– Не могу, – отказался Сёма, – у меня времени нет, мама сильно болеет, я за ней ухаживаю.

– На три дня всего, – выручай.

– Нет, не могу.

– Питание хорошее, культурное обслуживание, вечером танцы.

– Он даже в бассейн не ходит по абонементу, – подсказал Володя. – Когда будешь ходить в бассейн? Отнимут у нас время и дорожку, будете знать. Сначала просим дать воду, а потом никто не ходит.

– Не могу.

– Жаль. Одни старые – не могут, другие больные сильно, третьи не хотят.

– Я насчет чего пришел то? Я пришел взнос членский заплатить за этот год.

– А, молодец, один хоть дисциплинированный член у нас есть, сам приходит и платит. Давай я тебя запишу. Восемнадцать рублей.

Сёма быстро достал из кармана деньги, взятые у матери, положил на стол, перед председателем. Она взяла другой журнал, долго листала его, пока не нашла нужную страницу вписала туда взнос Егорова.

– Сёма, у тебя телефон не переменялся?

– Тот же самый.



Блондинка в старой шубе под леопарда, стоявшая у дверей, улыбнулась ему неприятной улыбкой и отвела глаза с таким выражением, будто знала, что то плохое про Сему.

Сёма тоже криво ей улыбнулся. Его передразнил Клементовский.

– Картошку-то будем сажать в этом году? – спросил он о главном чересчур смело.

– Кого? А картошку? Будем, как не будем. Хотя у нас ещё с осени остается долг перед автобазой за горючее для камаза и автобуса. Ищем спонсоров, чтобы расплатиться. Горючее нынче дорого стоит. А если не заплатим, то не предоставят нам транспорт на следующий раз. В марте будем собрание собирать картофелеводов. Как нам в Сибири картошку не сажать?

– Если что, мне позвоните?

– Конечно, Сёма, какой разговор? Как же мы без тебя? Обязательно позвоним. Распишись вот здесь.

– Приходите к нам на хор, вы поете? Нам мужские голоса нужны, – сказала симпатичная дама без видимых увечий в дорогой шубе и красивой шапочке, стоявшая рядом со столом.

– Приду как-нибудь, – пообещал Сёма.

Лицо блондинки у дверей перекосила нервная желчная судорога. Она показала пальцем на сейф, куда председатель убрала восемнадцать рублей.

– На членские взносы вы в рестораны ходите!

– Перестань выдумывать, Светлана, – воскликнула председатель, – Сёма посмотри на неё, выдумала про нас нелепицу, да ещё организовала троих таких же... и наговорили журналистке, что попало, а та напечатала статью в газете, даже с нами не встретилась предварительно. Сейчас вот опровержение пишем.

– Отравленными пряниками людей кормите! Пластелин – ваши пряники, все говорили!

– Какие пряники нам спонсоры выделили, такие и распределяем в подарках. Мы же их не из бюджета получаем и распределяем: хорошие себе, плохие – остальным, как вы в газете написали. Нет, мы общественная организация, пишем письма с просьбой помочь, оказать содействие, проявить милосердие, ходим, просим. Что дадут, за то благодарим.

– Послушайте меня, женщина, – сказал охранник картошки в женской шубе, – я вот на своей машине развозил те подарки по домам, и мне бензин оплатили теми же пряниками, всего я получил пять килограммов. Согласен, не очень они вкусные, но есть можно, всем семейством съели, и никто не заболел.

– Нам ведь что дают, то мы и берём, – сказала руководительница хора, уже без той приятности в голосе, с какой разговаривала с Семой, не глядя на Светлану, – это некоторые готовы только получать, а как попросить, так их нет. Кое-кто вообще взносы не платит пять лет, а ходит, права качает, воду здесь мутит, требуя переизбрания председателя.

– Врёте вы всё, – подбежав к ней, крикнула блондинка с бешеной страстью, – всё вы нагло врёте и меня ненавидите, за человека не считаете,

шизофреничкой называете, думаете, не знаю? Я всё знаю! Вот ты на днях зашла в троллейбус и почему не поздоровалась, а отвернулась?

– Перестаньте сейчас же, – в глазах брюнетки сверкнули горячие огоньки, – стоит напомнить, что в том троллейбусе ты наступила мне на ногу и чуть не опрокинула, как танкетка пёрла, даже не извилась.

– И не подумаю извиняться! Ещё чего не хватало! – блондинка сделала зверское лицо, что у неё получалось в совершенстве и бросилась на брюнетку, выставив вперед длинные фиолетовые ногти, но брюнетка ловко увернулась, закатив противнице оглушительную пощёчину.

Через секунду они по боксёрски волтузили друг друга в самом ближнем бою. Володю ДЦП-эшника отбросило взрывной энергетической волной, он упал со стула.

– Сёма, разнимай их срочно, а то конец, – скомандовала Тамара Георгиевна, накручивая телефонный диск, втягивая голову в плечи, как фронтовой связист под артобстрелом.

Сёма схватил в охапку брюнетку, эта ноша показалась ему менее опасной и вынес за дверь на улицу, где опустил на бетонное крыльцо без перил, а сам навалился спиной на входную железную дверь, в которую уже билась всем телом искусственная леопардиха.

Брюнетка кособоко сбежала с крыльца по кривым ступеням, казалось вот-вот упадёт, однако устояла на снегу, гордо подняв маленькую изящную головку, из-под шапочки у неё очень красиво выбивался локон.

Обернувшись, взглянула так, что Сёма понял, что его готовы порвать пополам.

– У вас отличный хор, – успел выпалить он вперёд, прежде чем брюнетка открыла рот, и произнес, что подсказывал Клементовский, – а вы самая, что ни на есть изумительно красивая женщина, какую я видел за последний месяц.

– Лжец! – воскликнула она горячо, – не вздумайте к нам на хор приходиться!

– Нет, приду! Ой! – леопард за дверью лягался на манер пожарной кобылы.

К сожалению, брюнетка дрожащими от возбуждения руками убрала со лба под шапочку так изумительно шедший ей локон, сделавшись обычной сорокалетней тёткой, и понеслась в сторону главного проспекта. На углу она притормозила и крикнула:

– Репетиции по средам, в семь!

«Картошка обеспечена, – ликовал Сёма, считая пинки, отлично передаваемые железной дверью, – пусть попробуют не дать четыре сотки, зараз скину штаны и покажу задницу, вся синяя к чертям собачьим ещё долго будет».

## **Катастрофа в социальном подвале при выдаче американской чечевицы. Клементовский оказался врагом рода человеческого.**

Поговорив с кем-то по телефону, лёжа как обычно в постели, родительница деловито обратилась к Сёме, варившего ей на кухне супчик, который она взяла за правило отказываться есть.

– Сёма, знаешь что? Бери срочно мой паспорт с пенсионным удостоверением, иди в наш собес, там где-то внутри со двора есть подвал, в котором сегодня дают социальную помощь. Говорят, американцы прислали. С утра, говорят, очень много народу приходит, а сейчас уже поменьше. Не всем дают, а только инвалидам и тем, кому уже за восемьдесят лет. Галина Ионовна позвонила, говорит, что в посылке есть соевое масло в больших металлических банках, потом горох, что там ещё-то? А, чечевица и рис. Посылка большая, в коробке килограмм десять, нести очень неудобно, ты возьми сетку красную большую, засунешь в неё, или переложишь продукты, а коробку там оставишь.

Сёма пошел к зданию социального обеспечения, на заднем дворе которого обнаружил длинную пенсионную очередь и огромную гору пустых коробок от социальной помощи.

Днем выдался солнечным и снег, как бывает в февральские оттепели, затаял, покрылся серебристой стеклянной корочкой, однако после обеда дунул холодный северный ветер, температура резко пошла вниз, в ночь обещали двадцать два градуса мороза.

Сёма занял очередь за старушкой интеллигентного вида в легкой вязаной шапочке в форме беретки, и пальто демисезонного вида. Прямой спиной и улановской невесомостью она напоминала педагога балетного кружка при Дворце пионеров, хотя всю жизнь проработала то техничкой, то уборщицей, а проще говоря полумойкой. Звали её Елизавета Сергеевна, было ей восемьдесят три года, до сих пор старушка умудрялась подрабатывать и гордилась этим чрезвычайно.

Елизавета Сергеевна пыталась поднять воротник, но у нее не получалось.

Егоров помог.

– Что-то вы слишком легко оделись.

– Мне как Галина Ионовна позвонила, так я и кинулась сюда, думала в помещении долго придется стоять, а тут еще на улице очередь оказалась.

– Так сходите, переоденьтесь, я никуда не уйду, буду ждать до победного конца.

– Если в тамбур пройдёте, пока я пробегаю, то меня уже не впустят.

Впереди мелькнула лысая голова доктора Клементовского, вот черт, действительно холодно. Сему пробрало даже в зимнем пуховике. Старый пуховичок, пух в нём с плеч в подол свалился, наверху дерюжка пустая осталась.

Дверь в подвальный тамбур плотно закрыта, стоящий первым человек держался за ручку. Раздался стук, дверь открыли, из темного лаза тамбура

наружу выбирался человек, получивший американскую помощь, последняя ступенька лаза была высока, и счастливчик, выставив перед собой картонный ящик с продуктами, сам выполз следом на четвереньках. Люди неохотно разорвали сплоченное оцепление возле дверей и выпустили его. Да, точно могут не пропустить вниз.

Туда – сюда сновали только молодые армяне: парень и девушка с иссиня чёрными волосами в новых дубленках, они были из национальной организации помощи беженцам и потому бесцеремонно расталкивали обычную местную очередь, вынося посылки. На них косились, но не противодействовали, только иногда какая-нибудь старушонка считала: «и лязят и лязят, уже шестой раз без очереди попёрлись!».

– У них молодые для старых бегают, – ответил ей кто-то из массы, – а у нас старые для молодых стоят.

Предположительно армяне были или работниками самой американской помощи или красного креста, а может и правда из комитета защиты прав беженцев, каждый предполагал на свой вкус, они никому ничего толком не объясняли, однако помощь им исправно в подвале выдавали, значит, имеют право без очереди.

– Много народа в помещении? – полюбопытствовала Елизавета Сергеевна у старичка, только что выбросившего из подвала посылку, а следом выпавшего на снег собственным телом.

Тот перекладывал продукты из ящика в сумку. Переложив, отбросил пустую коробку на гору других таких же коробок.

– Как селёдки в бочке, шагу ступить некуда, душегубка внутри страшная.

– Нет, не пойду переодеваться, – решила соседка.

Время от времени она сотрясалась мелкой, почти незаметной дрожью, как бездомный Кабысдох у дверей столовки, из которой на мороз выходит пар со съестными запахами. Нахлобучив беретик до бровей, пенсионерка застыла на одном на месте со всей прочей очередью.

После долгого ожидания опять стали вылезать люди один за другим и Сёма оказался прямо перед дверью, соседку удалось запихнуть в тамбурную дверь, а когда смог втиснуться сам, она еще стояла на верхней обледенелой ступеньке.

Тамбур представлял собой бетонную лестницу, со стеной и крышей, в двадцать скользких ступенек, спускавшихся к двери в подвал. Через щели в крыше сюда поступало немного света и, видимо, воды по осени, – лестница была покрыта равномерно-гладким слоем льда.

На каждой ступеньке горбилось три-четыре старика и старушки, старательно державшихся друг за друга и за стенки, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Было жутко холодно, темно и скучно. Зато два килограмма риса, горох, большая металлическая банка соевого масла, про чечевицу можно и не вспоминать.

Очередь словно замерзла на месте. Клементовский оказался сидящим под крышей тамбура верхом на кирпичной стене, где он подстелил смятую коробку, но другим инвалидам не под силам было вскарабкаться за ним следом.

Время от времени из тепла быстро выпадали люди, но внутрь никого не впускали, там случилось переполнение. Клементовский нахально болтал ногами над головой инвалида – ДЦП-эшника Володи.

Сёма закрыл глаза и ему приснился быстрый сон. Он увидел чёрный-пречёрный космос вокруг и Клементовского, стоящего в этом космосе совершенно спокойно, сложив руки на груди, с интересом за ним, Сёмой наблюдающего. «Шоу опять какое-нибудь выдумал», – догадался Егоров по блестящим стёклышкам пенсне. Ещё он видел расправленную кровать матери с одной простыней без одеяла и подушки, стоявшую не дома, а на краю неизвестной тёмной пропасти среди полного космического мрака. Постель была освещена ярким, неизвестно откуда направленным светом.

На кровати лежала сильно больная мать в одной сорочке, ноги свисали с кровати в космическую пропасть, и понемногу всё тело сползало туда. За кроватью ничего не было, кроме полной и абсолютной черноты, непонятно было на чём она держится.

Сёма подхватил мать за ноги, которые оказались страшно грузными, потянул из пропасти обратно на кровать, но слишком резко сделал это, в результате чего, хотя ноги и оказались в безопасности, вместо них с другой стороны в пропасть свесилась безвольная голова. Сёма переметнулся к изголовью, стараясь подхватить под руки, приподнять и вытянуть обратно.

Сделал ещё хуже для ног.

Клементовский развеселился как зритель, будто для него играют некую театральную постановку, пьесу европейского абсурда, а он сидит в ложе, иногда похлопывая ладошками.

Сёма заметался от ног к изголовью, быстро теряя силы и чувствуя, что ситуация с каждым разом только ухудшается. Поняв, что родительница вот-вот свалиться вниз, исчезнет навсегда, завопил тонким пронзительным голосом, какого у него никогда, даже в детстве не было, который разве во сне и мог присниться: «Мамочка, миленькая!» и сразу почувствовал, насколько легче от крика делается его работа. «Мамочка, миленькая!», – повторно вырвались из Семы непривычные слова, которые до того он ни разу не произносил.

«Мамочка, миленькая!», – вопил Сёма не переставая, и старое тело из каменно – тяжелого, от каждого следующего пронзительного вскрика делалось ощутимо более подъемным, пока не достигло невесомости пушинки, а в таком состоянии даже бессильный во сне Сёма смог оттащить его от пропасти к другому краю постели и проснуться.

Он вытащил из кармана несвежий носовой платок и вытер глаза, на душе было горько, и он еще раз промокнул глаза. «Надо, надо», – поддакнул неизвестно что имея в виду Клементовский, по-прежнему сидящий на стене,

и беззаботно махая на весу легкими штиблетами с небольшим утеплением в виде резиновых калош.

– Хорошо тебе, бестелесному, легко жить, – прохрипел Егоров.

– Соевое масло намного хуже нашего подсолнечного, на нем жарить невозможно – сразу горит, – произнесла Елизавета Сергеевна, обращаясь ко всем.

– Известное дело, чего хорошего кто тебе, за бесплатно, даст?

– А чечевицу эту варишь – варишь, не уваришь. Моя соседка пробовала приготовить по рецепту, который там приложен, но есть не смогла.

– Что выбросила?

– Нет, чечевицей этой голубей теперь кормит. Клюют, черти.

– Всякую дрянь нам присылают, дрянь первостатейную! – вступила в разговор член КПРФ Софья Оскаровна, стоявшая ступенькой ниже, – на тебе боже, что нам не гоже! При Советском Союзе такого не было и быть не могло. Сами себя кормили, слава богу.

«Скучно вам? – спросил Клементовский, обращаясь к Егорову, – сию секунду шоу смастрячим развесёлое, животики порвете – аппендицита не надо будет резать, сам вывалится!».

– Что, граждане коммунисты, – с высоты своего положения провозгласил он, тыча указующим перстом в Софью Оскаровну, – за американской подачкой в очередь выстроились? Эх, вы, а ещё секретарь райкома! Ай-яй-яй! Позорите высокое звание коммуниста, продались за чечевичную похлебку! Отступники! Оппортунисты!

Бывший второй секретарь райкома партии Софья Оскаровна стыдливо закуталась перед походом в собес, чтоб знакомые не признали, покойной свекрови шалью голову замотала, но зря, рассекретили гады!

– А вы, а вы... – задыхнулась она, – вы со своим Ельциным Родину всю по кирпичикам распродали! За доллары! Этот... рыжий... Чубайс коробками доллары по Кремлю таскает! Совсем совести нет!

Стоявший рядом инвалид войны Одыбайло перестал вежливо поддерживать Софью Оскаровну за порванный карман и сказал сурово:

– Хорошо тебе было с райкомовской отоваркой жить – поживать при советской власти? Небось, в магазине обычном и не была ни разу?

– Да откуда ей знать, что в магазинах пусто? Небось на дом привозили на машине райкомовской. Пусть постоит теперь с народом заодно, поморозится!

– Ха! А что же у вас, дерьмократов, отоварок своих нет? Чего вы мёрзнете, когда ваша власть пришла? Позабыл про вас Гайдар? Ельцин пенсии ваши пропил, заводы с фабриками Западу продал за копейки! До того напивается, что мордой в салат на приемах падает! Очухается, по телевизору поноет: люди, потерпите маленько ишшо! И опять бултых мордой в салатницу! А вы морозьтесь, если дураки такие терпеливые!

– Правильно, всю нефтянку продали налево, пустых бумажек ваучерных народу напихали, сами олигархами заделались!

- Сталинистка!
- Болван!
- Да я в штрафной роте кровь проливал!
- Ну и стой теперь в подвале с протянутой рукой! Может немчура чего подкинет, на пропитание. Чечевицы той же! На! Жри!

Что хотел совершить ветеран штрафной роты Одыбайло неизвестно, но качнувшись, поскользнулся первым, задел Софью Оскаровну и они на пару поехали вниз по лестнице, как дети с ледяной новогодней горки, сшибая впереди стоящих, устроив внизу кучу малу с двумя переломами старческих хрупких ключиц, пяти ребер и даже одной берцовой остеопорозной кости.

Только Сёма и поломойка Елизавета Сергеевна удержались на самом верху от этой ужасной бойни демократов с коммунистами, учинённой призраком из будущего. Сёма сбегал за скорой. Просил срочно пять машин сразу, ибо народу стонущего – навалом, но приехали две, остальные без бензина стоят.

Клементовский хохотал буквально до слез, озвучивал смех за кадром юмористического фильма, объясняя недалёковидной публике, где положено смеяться. Некоторое время Сёма пристально разглядывал его, потом сказал:

– А ведь ты, Клементовский – враг рода человеческого.

Тот снова расхохотался:

– Что есть, то есть. Уж точно не друг. Нет, не друг. Да ерунда всё это, главное смешно получилось.

С большими волнениями, болью и кровью, народ разобрал американскую отоварку, растащил по домам.

В денежном измерении продукты тянули рублей на двести, полумесячная зарплата какого-нибудь сторожа районного суда, который спит и видит, как середь чёрной непроглядной ночи деревянное здание суда поджигают бывшие зэки, получившие в нём свои сроки, и вернувшиеся раньше времени за хорошее поведение. Сёма чуть не устроился туда однажды, но оно в тот раз опять сгорело.

«Нельзя, чтобы здание суда было деревянным. Деревянное здание – это роскошь, а не инструмент министерства юстиции» – сказал Егоров бывшему терапевту, которому наскучило ходить пешком в туфлях по снегу, и он вздумал летать, лежа на спине и загребая руками, как пловец в бассейне.

– Сёма, знаешь, что я хотела тебе сказать?

– Нет.

Мать посмотрела по сторонам ищущим взглядом.

– Вот голова стала, только сейчас помнила и забыла. А. Вот что. Завтра прямо в помещении соцпомощи, а не в подвале, будет уже наш собес выдавать помощь. Говорят два махровых полотенца полагается, может, найдёшь время, сходишь?

– Схожу.

– Лучше после обеда идти, тогда народу меньше будет.

– Народу в помещении всегда много. До увечий дело доходит.

– Я только передаю, что мне по телефону сказали, если нет времени, то не ходи, – примирительно сказала мать. – Выключи радио, ничего хорошего не передают, песни дурацкие поют, или иностранные или слова без смысла. Только в концерте по заявкам иногда хорошую песню и услышишь, и то редко когда концерты бывают, если раз в неделю, то хорошо. «Рушника» давно не слышно, лет десять, пожалуй, не передавали. Говорят, можно позвонить по телефону и песню заказать.

Она вопросительно посмотрела на Сему.

– Гнатюк хорошо эту песню поет, помнишь: «Ах ты маты моя, ты ночей не доспала, ты рушник вышивала на счастье мэни ...». Пусть бы спели.

– Нет, песни, что по телефону можно на радиостанции заказать, у них только современные записи, а в концертах по заявкам, которые ты слушаешь, надо идти платить заказывать, и там не меньше ста рублей заказ стоит.

Мать вздохнула.

– Ну, тогда и не надо.

Материальную помощь она тут же заставила разделить. Себе оставила килограмм риса и гречки, остальное велела нести Ирме в общежитие.

– Завтра сходишь за полотенцами? Полотенца вам очень-очень пригодятся.

## 23.

### **Семьдесят рублей за смертельный диагноз плюс такси туда-обратно.**

До апреля пенсионерка каждый день собиралась завтра ехать в больницу на обследование, но чувствовала себя плохо, больше лежала на постели. В квартире холодно, а на улице вовсе зимний мороз, весной и не пахнет.

Сёме уже забыл и думать искать работу, он бегал покупал лекарства, которые мать послушно пила, готовил еду, которую она не ела, стирал белье, чтоб ни капельки не пахло и читал больной книжки, хотя теперь у нее пропал интерес и к этому. Радио также просила выключать.

«Вот принесёт почтальон пенсию, вызовешь такси, поедем в больницу анализы сдавать».

Очередную пенсию задерживали. Зашедшая в гости Полыхалова легко объяснила причину просрочки: Лолита Без Комплексов выходит замуж за большого пенсионного начальника, который богат, как олигарх, однако на свадьбу пенсионного фонда всей страны не хватает.

В начале апреля пенсию дали.

На улице мать смотрела по сторонам растерянно, словно не узнавая знакомых мест, шурилась от яркого солнца, глаза слезились.



После долгого раздевания в больничном гардеробе, Сёма повел родительницу на штурм лестницы, ибо нужный кабинет находился на втором этаже. Вцепившись руками в широкие перила, она пыталась тянуть изо всех сил тело наверх, и надолго застревала отдыхать после каждой ступеньки. Сёма бесполезно суетился, забегая то сзади, то спереди, стараясь помочь.

Отдыхая, стояла облокотившись на перила, медленно, шумно, словно во сне дыша. Вид у обоих был убогий. Люди молча обходили их стороной. Мать в тёплом залатанном халате, есть другой, сменный, лежит чистый постиранный, но ничуть не лучше, а платья одеть не под силу, да и тут надо раздеваться опять же, на осмотре, с древней потёртой шалью на плечах, в валенках на резиновой подошве, по случаю внезапно нагрывавшей весны и мокрого снега на дорогах.

Сёма раньше видел таких людей, смотрел на них сочувственно, но вот незаметно и сам стал одним из них. Стал и стал, что такого – неожиданно быстро примирился. Мать давно ничего себе ничего не покупает, знай повторяет: «надо всё донашивать», и он избрал по причине отсутствия средств подобную же тактику жизни. Где-то в больнице имелись лифты, однако приходящие больные ходили по лестницам, в том числе и умирающие. Нашли кабинет, заняли очередь.

Сёма усадил мать на свободное место. Она рассматривала входящих и выходящих, желая узнать знакомое лицо и поздороваться, но знакомых как-то не находилось. Потом возле нее освободилось место, никто не сел и Сёма занял его. Они сидели молча.

Клементовский в разлетающемся халате носился туда – сюда по коридору с важным видом, изображая из себя самого главного врача. Психически неуравновешенные, или просто чувствительные больные уступали ему дорогу. Клементовского это забавляло.

Сёма уже подумывал выбросить его в форточку, но тот заорал:

– Вот попробуй только! Меня население видит! Это все начнут людей в белых халатах в форточки кидать, что тогда получится? Это никаких форточек не напасешься! Больницы опустеют... это же такое дело врачей откроется снова, что ого-го-го!

– Много народа перед нами? – спросила мать, не отрывая взгляда от потёртого линолеума.

– Трое осталось. Может четверо.

– А остальные куда сидят?

– В соседний процедурный кабинет, там уколы ставят.

– А. Долго как. Ирма в больницу ходит? Наблюдают её врачи?

– Наблюдают.

– И слава богу. Хорошо, что молодых лечат. Тебе надо с ней быть рядом, а ты меня в больницу повёз. Знаю я их диагноз прекрасно. Благо бы вылечили, а то бесполезная трата времени будет. Скажут название болезни – иди домой.

Люди заходили в кабинет, выходили с бумажками, уходили, потом снова появлялись и заходили в кабинет по второму и третьему разу.

– Зачем эти врачи нужны? – зевнул Клементовский. Он вновь сделался полупрозрачным и никому из посторонних не видным. – Лишний расход только. В нашем царстве – государстве, к примеру врачей нет, учителя бесплатно работают. Мы при коммунизме жили, одним днём.

– У нас тоже практически бесплатно все работают, – согласился с ним Егоров.

– Чем на чужого дядю работать, лучше на печи проспать, так дед говорил, – сказала мать. – Ты на государство не устраивайся работать, оно, государство наше только чиновникам зарплату поднимает и поднимает, чтобы не воровали. Но если человек вор, хоть сколько ему ни давай, он только ещё больше воровать станет. А из простых людей государство все соки выпивает, так оно устроено, государство наше. Вроде как не наше. За каждую копейку заставляет многоноcko потов пролить, за каждый колосок. Я всю жизнь на него проработала и что? Пришлось на старости лет отцовы награды спекулянтам продать, чтобы с голоду не умереть. Ни в советское время не платили за труд, ни сейчас, уж пенсия на что крошечная и ту задерживают.

Постепенно скамейки у дверей опустели. Пришла их очередь.

Худенькая черноволосая докторша быстро пролистала медицинскую карточку, анализы, которые сдавали прежде, при этом быстро говорила «так-так-так», улыбнулась быстро и сказала: «Ну что, будем раздеваться?»

Сёма помог матери с пимами, халатом и лечь на кушетку на правый бок. Докторша принялась надавливать на живот и спрашивать, где больно. Старухе больно было везде.

– Надо сделать пройти УЗИ в нашей больнице. По результатам его можно было поставить точный диагноз, – она вопросительно посмотрела на Сему. Он понял правильно.

– А сколько стоит?

Врачиха перестала улыбаться, сказала, взглянув уклончиво:

– Семьдесят рублей. Сейчас выпишу направление и позвоню им, вас примут без очереди, это на четвертом этаже, кабинет номер 427.

Сёма испугался:

– На четвертом этаже?

– Да, я вам сейчас объясню, как пройти. Потом приходите снова ко мне.

Он глянул вопросительно на мать, сможет ли подняться на четвертый этаж, та рассеяно глядела в сторону.

– Хорошо, – сказал Сёма твёрдо, обращаясь больше к матери, чем к врачу, – давайте сделаем УЗИ.

Через некоторое время они с листочком вышли на площадку к лестнице, по которой предстояло карабкаться.

– Какой этаж? – спросила мать.

– Четвертый. Но мы уже на втором.

– Ух ты, боюсь, не зайду.

На УЗИ их пропустили без очереди, хотя народ и переминался возле дверей. «Вот что значит платная услуга, – подумал Егоров, – с одной стороны приходится деньги немалые отдавать, с другой – ждать нет никакой возможности, у матери сил жить не остается». Он боялся смотреть в серое лицо: сейчас упадёт и умрёт. Что тогда делать?

В полумраке кабинета, где ровно гудел монитор с голубым экраном, и где их ждали, он снова помог матери раздеться и лечь.

С полчаса белокурая девушка водила резиновой грушей, сосредоточив внимание на экране, по ходу движения диктуя медицинские термины другой врачихе, которая сидела за столом в полутьме и писала.

По интонации было ясно, что ей многое видно, но прямо спросить диагноз Сёма стеснялся. «Пусть напишет, врач потом объяснит», – подумал он. Впрочем, было ясно, что дело плохо. Сёме уже не хотелось знать, насколько плохо.

От себя лично и от сурово молчащей родительницы поблагодарил за хороший приём, после чего они вышли в коридор, где какая-то женщина сразу уступила место на скамейке.

Через некоторое время девушка позвала его.

– У вашей бабушки диагноз подтвердился, – сказала она, когда он расплатился и в полутьме еле отыскал нужное место, где следовало поставить подпись в журнале финансовой отчетности. – Рак кишечника. При таком положении живут считанные месяцы, причём считать приходится совсем немного: раз да два.

Сёма принял бумажку, повернулся, сказал: «Спасибо. До свидания» и вышел в коридор к матери. Та впервые за все путешествие пристально посмотрела ему в глаза.

– Ну, что?

– Да понаписали вот что-то. Пойдём теперь обратно к врачу.

Мать кивнула. Вниз они спускались не в пример быстрее, чем шли вверх.

– Что вниз тебе легче идти?

– Какое сравнение, конечно.

Возле кабинета снова клубился болезный народ. Сёма посадил мать на свободное место, подождал, пока очередной вышел и зашел со следующим больным.

Врач кивнула ему и взяла лист.

– Маму заводить?

– Не надо. Я сейчас напишу вашему терапевту, что диагноз подтвердился.

– Может ей надо особое питание, диета?

– Пусть кушает то, что ей нравится.

– Ей ничего не нравится, не ест ничего.

– Судя по всему началась последняя стадия, скоро совсем сляжет, за ней нужно будет ухаживать, делать обезболивающие уколы. У вас кто этим

будет заниматься? Больничная медсестра раз покажет как, а сама ходить не сможет.

– Я буду, кто ещё?

Вышел в коридор с заключением, кучей рецептов на руках.

– Что, положат меня на лечение в больницу?

– На дому лечиться будем.

– Да, стариков в больницу не берут.

– Сказали, что операцию делать нельзя.

– Вот, а что я тебе говорила? – будто даже с некоторым удовлетворением произнесла мать.

Одевались долго.

Солнце растопило почти весь снег на площади перед зданием больницы. Здесь стояло много легковушек. В некоторых сидели водители.

– Может нас кто-нибудь подвезёт? – старуха с надеждой оглянулась по сторонам.

– Нет, они своих ждут. Пойдём к дороге, там будем ловить.

У дороги мать покачнулась, прилегла на капот стоявшего москвича. Зная как опасно трогать чужие машины, за такое убить могут их владельцы, Сёма двумя руками замахал такси, которое ехало в противоположном направлении. Такси лихо развернулось по дороге, разбрызгав широким веером грязь, подлетело к ним. Через пятнадцать минут были дома. Мать упала на кровать, как подкошенная: «Больше в больницу никогда не пойду».

Лежала, смотрела на улицу в окно. На подоконнике в стаканчике пушились высохшие веточки прошлогодней вербы.

– Скоро вербное воскресенье, – а там, не успеешь обернуться, Пасха придёт, в этом году Пасха пятнадцатого апреля. Ирма со дня на день родит, это хорошо. Ты иди, иди скорее домой. Ко мне не приходи пока, время со мной не теряй. Телефон поставь у кровати, стакан воды. Свезёшь Ирму в роддом сразу позвони, я молиться буду. Встану потом ещё внучку посмотреть. Даст бог, испеку кулич к Господню Воскресению.

## 24.

**Куличи на Пасху с яйцами и солёной помидоркой. Рабский труд на том свете.**

В преддверии Пасхи и Вербного Воскресенья базар ожил, удлинился за счет большего числа продавцов яиц, которые торговали обычно только с краев базара, и цена подскочила на три рубля сразу за десять дней до праздника.

Особенно дорогими стали простые белые яйца, которые в обычные время мало кто брал, предпочитая более крупные, крепкие и красивые в коричневой скорлупе, но красить в разные цвета удобней белые, и с апрельским теплом они резко взыграли в цене. Появилось множество людей

торгующих без места, с поставленного на попа ящика из-под фруктов веточками вербы, или просто с постеленной на грязный снег газеты.

Пучки тёмных веточек с серыми пушистыми сережками лежали на газетах большими кучами, некоторые продавцы носили их прямо в руках, предлагая прохожим. Сёма купил набор куриного мяса на бульон матери, пучок вербы с огромными пушистыми сережками у деревенской бабки, с круглым лицом, туго обвязанным, несмотря на теплую погоду, старой потёртой шалью.

Открыл дверь ключом, снял пуховик, шапку, начал разуваться. Мать лежала тихо.

Сёма поставил вербочки в полулитровую стеклянную баночку, убрав сухие, ставшие колючими от сухости веточки, стоявшие с прошлого года.

– Уже вербой торгуют? – спросила она, открыв глаза.

– Во всю. Как на новый год елками, так сегодня вербой, все тащат и стар и мал, кто только может наломать. Давай таблетки пить будем, да укольчик поставлю.

Уколы Сёма научился ставить, делал в руку и, наверное, больно: мать поморщилась.

– Руки у тебя Сёма грубые, не подходят для такой работы.

Сёма промолчал. Он не знал уже для какой работы вообще подходит.

– Шел бы домой, что ты тут со мной? Иди к Ирме, как там она себя чувствует?

– Нормально. В больницу положили на сохранение из-за возраста.

Он пошел на кухню варить бульон в маленькой кастрюльке, который предполагал заправить меленькой лапшичкой. Бульон закипел, Сёма собрал пену, убавил газ и вышел в комнату. Мать тихо лежала на правом боку с открытыми глазами. Сёма включил телевизор. Экран рябил от часто проезжающих автомобилей. Он попробовал переставить антенну на подоконнике, покрутил колесики настройки программы.

– Да выключи ты его.

– А что? Может посмотришь сериал какой-нибудь, интересней будет.

– Выключи, никакого интереса в телевизоре для меня нет.

Сёма выключил, накрыл салфеткой.

– На Пасху яиц купил? Мне сюда тоже надо сюда пару десятков. Много в этом году красить не буду, а по яичку всем надо подарить. Цена уже поднялась?

– Поднялась.

– Ну, всё равно, возьми денег из платочка и купи самых лучших. Куличи святить не пойду в церковь, не смогу, печь будем с тобой вместе, я тебе скажу, что делать, надо ещё изюма купить со стаканчик, не больше. Залеживаюсь я в своем склепе без народа, лежишь, думаешь, да вспоминаешь, а ночью чего только в глаза не лезет. Все за ночь придут, кто уж давно помер, и не тени никакие, а прямо живьем, здоровые разгуливают, ходят куда-то, спешат даже, кто заговаривает, кто проходит, будто не

замечает. Пойдѣшь домой, купи Ирме гостинец от меня, отнеси в больницу. Пусть обид не держит, скоро помру.

Сколько Сѣма себя помнил, в пасхальную субботу родительница всегда пекла куличи с крестами на маковках, красила луковой шелухой яйца в коричнево-красный цвет, носила святить в церковь.

На сей раз Сѣма предполагал обойтись без куличей: мать еле-еле встает, куда ей на кухню к газовой духовке? Но сама она была другого мнения, утром в субботу позвонила по телефону.

– Приходи, Сѣма, у меня тесто подошло.

– Мама, зачем? – запоздало воскликнул Сѣма.

Она положила трубку.

Теста оказалось много, оно уже в третий раз подняло крышку на эмалированном ведре. Цилиндрические формочки выстроились на столе по росту. Горка крашенных яйца обсыхала на большой тарелке на подоконнике. Сѣма выстелил по указке промасленной бумагой формочки, разложил по ним приготовленное тесто, мать сделала из полосок теста кресты, после чего формочки были водружены в духовку.

От горящего газа на кухне быстро сделалось жарко. Мать закачало, однако она не ушла, села у стола и ждала до конца, указывая, когда надо открыть побольше газ, когда прикрутить вентиль, и даже прикрыть открытое пламя железным листом. Сладко запахло сдобой. Сѣма то и дело открывал дверцу – поглядеть, как румянится маковка и не горит ли.

– Осторожнее, Сѣма, не трясись. Стряхнешь, опадут куличи и будут не вкусные, не пышные.

Куличи не опали, напротив – поднялись из форм высоко и вытаскивать их из маленькой раскаленной духовки оказалось не простой задачей.

На столе совместными усилиями извлекли из форм, расставили по тарелкам и перышком смазали сверху сахарным белком, после чего накрыли салфетками и поставили «отдыхать».

– Слава богу, ни один не подгорел, и поднялись хорошо. Святить Сѣма пойдѣшь?

Сѣма никогда не ходил, не знал, как да что и отказался. Мать согласно кивнула:

– Ну и ладно. И так, слава богу. Давай будем заворачивать, ты сумки принѣс? Вот этот маленький оставим здесь, а остальные забирай, неси домой и в больницу Ирме обязательно. Пусть у вас всё будет хорошо. Чувствую, вот-вот должна она родить.

Попыталась подняться с табуретки и не смогла. Рука дрожала от напряжения крупной дрожью, опираясь локтем о столешницу, лицо мгновенно покрылось бисером влаги, сделалось малиновым. Сѣма подскочил, помог матери разогнуться, довѣл до кровати.

– Отстряпалась, однако, – сказала мать, еле шевеля губами, – ты там на кухне приberi, а мне дай таблеток.

– Укол обезболивающий поставим?

– Нет, просто отдохну. Сейчас оклемаюсь. Всё сделали, как положено, слава богу. Теперь можно встретить Воскресение с чистым сердцем. В церковь уже не могу, бог простит. Ты пойдёшь сегодня в погреб?

– Сейчас схожу, пока не закрыли. Чего принести?

Мать поглядела на него снизу вверх, сделав заискивающее лицо. Сёма догадался, что верно с таким лицом в детстве она просила по деревням милостыню – кусок хлеба «христа ради».

– Знаешь что? Принеси помидорку из погреба.

– Хорошо.

Мать кивнула обрадовано, будто он уже принес ей красную кислосладкую помидорку, достав из банки, положил на тарелку.

Сёма набрал в сумку картошки, моркови, стал искать на полке среди банок какую-нибудь банку с помидорами. Но таковых не обнаружилось.

На обратном пути тащил картошку, поэтому не стал покупать, а в воскресенье специально зашёл по пути на базар и особенно тщательно обследовал небольшой тупичок, где торговали с ящиков картошкой, морковью, свеклой с редькой и другими не слишком разнообразными дарами огородов частники.

По случаю Пасхи народу было мало, как покупателей, так и продавцов. Трехлитровые банки с помидорами он увидел только в одном месте: у постоянной торговли, имевшей свой стол. Банки были красивые: с прозрачайшим рассолом, в котором сверху зеленели соцветия укропа, а промеж красных небольших помидоров виднелись белые зубчики чеснока. Тревожно нашаривая деньги в кармане, спросил, почем банка. Ему была названа такая цена, что он невольно отшатнулся и ушел с базара даже для приличия не поторговавшись.

К его удивлению мать встала самостоятельно, встретила его в коридоре, умытая, совершившая утреннее молитвенное бормотание перед календарем с иконой Казанской божьей матери. И посмотрела своими прежними смеющимися глазами.

– Христос воскрес, – сказал Сёма, понимая, чего от него ждут, и передавая гостинец, состоящий из пяти крашенных яиц в полиэтиленовом пакетике.

– Воистину воскрес, – благодарно произнесла мать, – как там Ирма себя чувствует?

– Хорошо.

– Слава богу. Раздевайся, проходи на кухню, я накрыла разговляться, – она двигалась по кухне почти также уверенно, как до болезни.

Принесённые в подарок разноцветные покупные яйца выложила на блюдечке, а кушать поставила свои, буро-красные, вареные в луковичной шелухе. Сёма достал кулич из кастрюли, где он хранился и на тарелке разрезал на кусочки, налил горячего чая в чашки, добавил кипяченой воды, дабы не обжечься.

Разбив по яичку, стали разговляться, кушая кусочки сладких вкусных куличей с яйцом, запивая сладким чаем.

Сёма налил матери и себе в стаканы сливового сока. Мать выпила, ей понравилось:

– Вот, вкусный какой. Ты пей Сёма, тоже, все выпивай, потом еще такого купишь, Ирме отнесёшь. Не пора тебе к ней идти?

– У них сегодня передачи принимают только с двух часов. Тебе соседи привет передавали, Галина Ионовна у подъезда стояла и еще несколько старушек. Говорят, выздоравливай быстрее, да выходи постоять с ними на улице.

– Стоят уже?

– Стояло несколько человек вчера, а сегодня не видел, но можно сходить посмотреть. Может, кого в гости пригласить из соседок?

– А зачем? Чтобы они увидели, какая стала я страшная? Не надо. Они мне ничего сказать не смогут и я им. Не надо, Сёма, даже если проситься будут – скажи, мол, плохо себя чувствует, лучше потом как-нибудь. Мне бы Ирму с вашим ребеночком дождаться, на них посмотреть. Помидорку-то принёс?

– Нет в погребе банок с помидорами. Вчера всё обшарил, не нашёл.

Мать странно на него посмотрела, будто он обманывает, резко, осуждающе, отвернула в сторону разом потухшее лицо.

А Сёма стал рассказывать, как он искал на базаре купить небольшую баночку, но банки продают исключительно трехлитровые и дорого стоят, а потом смешался и замолчал.

Включил телевизор, где в новостях показывали начищенные сусальным золотом богатые московские храмы, в которых проводили службу иерархи православной церкви, одетые в сверкающие самоцветами и золотым шитьем одеяния, и пошел на кухню мыть посуду. Он слышал, как мать самостоятельно поднялась с дивана, перешла на кровать и тяжело легла.

Прибравшись на кухне, Сёма вернулся в комнату. Передавали бесконечную службу в главном храме страны, пел хор певчих. Мать спала.

Лежала безмолвно, дыхание не было слышно. Он подошел, накрыл её одеялом. Выключил телевизор.

Солнце пронзало комнату светлыми лучами, и ковер на стене полыхал ярким малиновым костром. Толпы народу шли по улице, сквозь двойные рамы доносились смех, и выкрики. Подъездная дверь долбалась без устали, сотрясая стены. Сёма был рад, что мать уснула и не слышит этого и не расстраивается хоть некоторое время. Взял книгу, стал читать. Через некоторое время посмотрел на мать, увидел, что она не спит, глаза открыты, но затянута вроде пленкой серой. Вот пошевелилась, молвила устало:

– Теперь всё видела, что там делается.

– Где?

– Там ... – произнесла без выражения, вглядываясь куда-то вдаль.

– И что там делают?

– Работают. Работают все до одного, таскают, возят, лопатами кидают, на тачках глину эту, без всяких смен ... ох и работают ... страшно.



– Это тебе, наверное, твой комбинат приснился, как-никак всесоюзная стройка была. Город - сад строили.

– Жила я в саде-городе, – согласилась мать с той же отстранённой интонацией, будто сквозь сон говоря, – знаешь что, Сёма, не садил бы ты в этом году картошку, хватит с ней надрываться, мешки эти таскать. Год без картошки проживёте, ничего не случится, побереги здоровье.

– Что расстраиваться раньше времени, не дадут землю, тогда точно без картошки зимой останемся.

– Не сади. Не надо, ну её. Там тоже вон таскают и таскают без продыха.

– Где? ... А там ... ну, что теперь поделаешь, раз так мир устроен.

Взгляд её был по-прежнему отсутствующим, нездешним, она глянула на Сёму откуда-то издалека, и ей стало грустно.

– Мне бы только дождаться внучки. – помолчала, – А вербочка стоит, не осыпается.

– Должна год отстоять, ничего с ней не делается.

– Сережки уж больно крупные. Загадала, если почки не отпадут, то выкарабкаюсь, – вздохнула, – они не отпали, и я не выкарабкалась. Сёма, знаешь что?

– Что?

– Как умру, похоронишь меня на родине в деревне?

Это был скорее не вопрос, а надежда. Где-то на заброшенном деревенском кладбище в неизвестной могилке похоронена её мама, которую она не помнит. Ей бы где-нибудь неподалёку.

– Не говори глупостей.

«Сама же давным-давно ездила и потом рассказывала, что деревня умерла, никто там больше не живет, избы растащили на дрова в окрестные сёла, землю распахали колхозы между собой, Речка засохла в грязную лужу. Была очень недовольна увиденным. И кладбище, наверное, уже распахали».

Однако старухе виделась другая картина из детства: чистая речка, привольные поля ржи и льна, березовые околки, неизвестно кем отнятая родина.

Отвернулась к окну, скрывая огорчение.

– Ладно, поди валяться не бросите на дороге, закопаете где-нибудь. А почему мне морфий не прописали? Клементовский вон, – указала в сторону Клементовского, – к отцу больному всю дорогу приходил и утро и днём и вечером, сам ставил морфий, а мне почему не ставят?

– Болит?

– А как думаешь?

– Ну, хорошо, завтра прямо с утра схожу к Горовой, попрошу, чтобы выписала морфия. Она говорила, что сейчас то что мы ставим, самое сильнодействующее средство перед наркотиками, но не наркотик, зато, если выздоровеешь, наркоманом не станешь.

Мать слабо отмахнулась: «... выздоровеешь, чего людей-то смешить... знаю я... не успею... до внучки».

– Неуспенье божьей матери выходит, – брякнул Клементовский, и самостоятельно, без посторонней помощи исчез, как сквозь пол провалился, один голос звучать остался, – может и к лучшему. Вдруг там не внучка окажется, а к примеру... внук ... да еще не нашенький... Вот где промашка выйдет! – и снова проявился в кресле с хитрым видом, прижав платочек к глазам. – Смеяться право не грешно, над тем, что кажется смешно! Правда же, Сёма?

– Неправда!

Старуха уперлась по сторонам руками в постель, а седая голова тряслась на худой шее. Потом у нее не осталось сил сидеть, Сёма помог лечь. Она забылась.

Клементовский сидел на диване, расплывшись в умильной улыбке.

– Шел бы ты отсюда, надоел хуже горькой редьки.

– Погоди, погоди, – мнимый терапевт поднёс палец к губам, – не спугни, мне тут следует находиться, это очень важно... в международном масштабе.

## 25.

### Успение, неудачная картошка и рушник на счастье.

Сёма несказанно обрадовался, когда ему по телефону сообщили из роддома, что Ирма родила девочку.

Стукнуло сильно, даже из головы вылетело, что ребёнок не его. Мать-то, мать как обрадуется! Забирать обоих из больницы Егоров пришёл один. Макуша и не подумал объявиться. Да чёрт с ним. Егоров и в ЗАГСе получил свидетельство о рождении, где родителями указаны он и Ирма.

На следующий же день после возвращения предложил сходить в гости к бабке. Ирме не очень хотелось показывать дочку посторонним, вредно до двух недель, однако Сёма был настойчив, говорил, что бабка двух недель может не прожить и уговорил.

Когда они вошли, старуха сама села на постели, чего в последнее время ей не удавалось, попросила разрешения подержать ребёнка на руках.

– Не бойся, не уронит, – успокоил Сёма Ирму, – я буду поддерживать, личико ей приоткрой.

– Ах ты, наконец-то радость пришла в гости к нам, вылитая мама моя, один к одному, даже удивительно.

– Ты же говорила, – напомнил он матери, – что не помнишь свою маму в лицо, маленькая была, когда она умерла.

Ирма слегка усмехнулась старческим причудам.

Бабка разулыбалась её ответно.

– Пахнет мамой моей, как платья её пахли. Так больше никто во всём свете не пахнет. Вот мы и свиделись наконец-то, как давно я тебя ждала.

На другой день Сёма пришёл к матери один.

– Сёма!

– Что?

– Сёма, жарко, открой форточку.

Несмотря на тёплую весну, на улице было не слишком солнечно.

– Не простынешь?

– Открой!

Отворил форточки обеих рам, с улицы потянул прохладный воздух, раздался шум машин, крики детей и разговоры прохожих. Сёма поморщился. Не дадут никак покоя человеку.

– Сёма, открыл?

– Открыл.

К удивлению Семы, мать вдруг сильно выгнула шею, с неподдельным интересом пытаясь взглянуть назад, где над её изголовьем располагалось окно.

– Жарко как. Сёма, может, всё окно открыть?

– Да ты что, там же пыль столбом. Нет уж, лучше давай, помашу на тебя.

Он взял большую картонку, стал махать ей, словно опахалом.

Благодарная улыбка осветила лицо матери. Сёма махал, махал, но тут на кухне зашипела вода в кастрюльке. Сёма отправился варить бульон. Улыбка с лица матери исчезла, осталось непонимание.

Когда Сёма сварил бульон и зашел в комнату, мать спокойно лежала. Пальцы рук гладили простынь, как бы уверяясь, что она находится у себя дома, на своей родной кровати, в своей комнате.

– Мама, будешь бульон?

Она смотрела перед собой удивительно спокойным взглядом и не отвечала. Будто не слышала.

Он присел рядом.

Больная лежала на спине, глаза были широко раскрыты. Она посмотрела на него, потом обычно неподвижный взгляд легко перескочил на другое, на третье, в глазах не было и признака боли. У них изменился цвет. Глаза стали светло-голубыми, ясными, как у новорожденного ребенка.

– Мама, – позвал жалобно Сёма, – ну, мам, скажи, что мне делать? Ты меня слышишь? Ты пить хочешь? Воды дать? Или бульончику?

Глаза матери продолжали путешествовать по комнате, разглядывая все вокруг, иногда они натыкались на сёмино лицо, смотрели на него с небольшим любопытством, чем на все остальное и следовали дальше. Их безмятежное выражение никак не соответствовало страшному храпу, сотрясавшему голову и грудь. Сёма схватил со стола очередную ампулу, отщёлкнул стеклянную головку, сделал укол. Решительно ничего не изменилось.

– Клементовский, что делать?

– Ничего страшного, в грубушник пора и все дела. Да побыстрее.

Сёма метнул в него взгляд, разорвавший образ несчастного путешественника иных миров на мелкие кусочки, которые с пороссячьим визгом вылетели через открытую форточку, прилипли к наружной решетке,

изображавшей лучи восходящего солнца, еще некоторое время ныли о недостатке человечности, а так же полном отсутствии благодарности и необычайной сердечной чѣрствости местного контингента.

Раздался телефонный звонок. Соседка Полыхалова спрашивала про здоровье. Да какое тут здоровье, ежели помирает? Сѣма ответил, что плохо, совсем плохо. И хоть мама не хотела, чтобы кто-то видел её в таком состоянии, отказывал всем в гостеприимстве, на этот раз сказал: «Приходите, она все равно уже ничего не видит».

Полыхалова примчалась в одну секунду. Войдя в комнату, кивнула в сторону Клементовского, потихоньку спросив Егорова: «А это что за старичок пожаловал?»

– Сродный родственник, – пояснил Сѣма, нагоняя туман.

– Хорошо, когда по-родственному не забывают, – ещё раз кивнула миру старуха, взяла с кухни табурет, установила посередь комнаты, села и принялась смотреть на больную со слезливо-радостным умилением.

– И давно она так-то?

– Недавно, – Сѣма присел у кровати, смочил тряпочку в стакане с кипячёной водой, стал смачивать губы матери, она жадно хватала мокрую материю.

– Пить хочет.

Сѣма взял со стола ложку, одной рукой приподнял голову с подушки, другой начал поить мать из ложки, черпая воду из чашки. После нескольких ложек, Сѣма протер горячее лицо влажной тряпочкой. Вода быстро испарилась с лица.

– Пойду, подогрею немного бульон, поди уж остыл. Она воду пить может, значит, и бульон ложечкой попьёт.

Пока его не было в комнате, Полыхалова быстро встала, подошла к больной, откинула одеяло с ног, посмотрела, покачала головой, закрыла и вернулась на свое место.

Скоро вошел Сѣма с чашкой бульона.

– Поставь на стол, пусть она отдохнет немного, – сказала старуха.

Сѣма поставил чашку на стол и присел.

– Смотри, смотри, – зашептала Полыхалова, – потолок оглядывает, рассматривает. Человек так прощается перед смертью со своим домом, где жизнь прожита.

– Зачем прощаться?

И точно, с непонятым любопытством мать Сѣмы рассматривала потолок, водя головой из стороны в сторону, и даже запрокидывая назад. Что ей там чудится на самом деле? Какие видения?

– С домом прощается, – повторила староверка, кивая сама себе, – всё правильно. Давно ведь здесь живет, почитай полжизни провела.

Сѣме не нравилось, то, о чём говорила соседка. Навыдумывают всяких примет и носятся с ними потом, приводя к месту и не к месту.

– Ничего не прощается.

– Недолго осталось мучиться.

Раздался не ко времени громко телефонный звонок. Аппарат стоял на швейной машинке практически в изголовьях матери. Сёма схватил трубку.

– Алло, Сёма, в пятницу картошку садим. Автобус отходит в восемь утра от общества. Семена приготовил?

– Какую картошку? – чувствуя, что застит матери свет и воздух от форточки, спросил. – Тамара Георгиевна?

– Постой, ты деньги на землю сдавал?

– Сдавал, сдавал, а как же. Но картошку... садить не буду, – и положил трубку.

Безмятежный блуждающий доселе взгляд материнских глаз, по-детски беззащитных, вдруг остановился на Семе, выделил его из окружающего мира. Для этого ей пришлось сильно повернуть голову вправо, туда, где он стоял.

Целую минуту смотрели друг на друга не мигая, будто привязанные взглядами, пока глаза Семы не наполнились слезами, и он, боясь расплакаться, сделал шаг назад, растягивая и утоньшая нить, за которую мать держалась в этой жизни, потом ещё шажок, после чего отвернулся, вышел на кухню и встал там у окна.

Наступила тишина. На кухню неслышно вошла Полыхалова.

– Сёма, мама-то умерла.

Сёма скривился, бросился обратно к матери: её рука лежащая с краю постели была холодна, лицо спокойно, глаза закрыты, глубокие морщины разгладились, мучение более не сковывало черт, и они разом приобрели выражение благостного долгожданного покоя.

– Пусть полежит, отдохнет страданица наша с полчаса, а потом оденем в последний путь. Пусть отдыхает, пусть, всё окончилось, слава богу, жисть была долгая да трудная, сколько можно сердцу бедному биться – надрываться? Куда-то родственник девался, смотри как тихо ушёл, расстроился конечно, тоже не молодой человек, все там будем до единого, царствие ей небесное! Молитву надо прочесть...

Сёма сел рядышком с кроватью, взял холодную, мягкую, но уже не влажную материнскую ладонь и в горле его забулькали звуки, нечто весьма отдаленно напоминающие песню, которую так любила слушать по радио мать:

Ах ты, маты моя,  
Ты ночей не доспала,  
Ты рушник вышивала  
На счастье мэни...

## 26.

**Барабашка потерялся. Сны Егорова. Разоблачение вруна Клементовского.**

В день похорон Клементовский пропал, и надолго, почитай до самого сорокового дня не было о нём ни слуху, ни духу. Сёма из общежития перешёл жить в квартиру матери, освободив спальное место для новорожденного. Ирма молчала и он молчал, когда уходил, забрав вещички.

Стал полагать, что выздоровел, однако не тут то было: в конце июня Клементовский проявился из воздуха вновь.

От образа участкового терапевта осталась одна примета – пенсне: он сделался меньше ростом, сгорбился, оброс седой неровной бородкой, раз и навсегда потеряв во взгляде достоинство госбюджетного интеллигента, вышагивающего по городским улицам со своим портфельчиком или докторским саквояжем.

– Что, не успел в рай проскользнуть, пропащая душа? А я по маме в церкви поминальную молитву заказал на год вперед, у ней душа, небось, легкая, как облачко, вознеслась она давно, зря ты здесь рыскаешь, людей пугаешь.

– Может и вознеслась, – простонал Клементовский, – за меня ведь свечу заупокойную некому зажечь.

– Хочешь большую свечу за шесть рублей, самую, что ни на есть толстую и горит жарко, как горелка у воздушного шара, так восходящие потоки вверх потащат, что только держись за стропы, айн момент и в раю.

– Мать не снилась тебе после похорон, так?

– И не должна. Раз не снится, значит всё хорошо. Полыхалова так сказала, и соседки подтвердили.

– Слушай больше Полыхалову, что бы она понимала в наших душевных делах. Должна маменька присниться обязательно, наказ последний оставить, простить, ибо вина на тебе, Сёма большая: помидорку солёную умирающая просила, а ты не принёс. Потом убежал каждый раз, не хотел с больным человеком посидеть, поговорить, всё торопился, а ей ведь одиноко, небось, было один на один со своими думами оставаться. А кто тапочки погребальные на покойницу не надел, в старых, стоптанных в гроб уложил? А? Стыдоба.

Тапочками доктор доконал Сёму. Тот принялся оправдываться.

– Не нашёл я, ты же знаешь, она их почему-то отдельно от смертного белья положила на самый низ шифоньера, в угол, потом в церковь отнёс, сдал для дома престарелых. Чего пристал?

– Да ничего особенного, Сёма, мелочь, поспи братец здесь, на диванчике, как прежде ляг и поспи, должен тебе сон присниться обязательно.

Егоров тяжело вздохнул.

– Не ушла она пока, знаю я, чувствую: здесь обитает. Поспишь с недельку, может и меньше, мы простимся и отправимся с ней... восвосяи, куда положено. Не понимаю, чего упираешься? Ведь мог на радио для больной матери заказать песню «Рушник», чего не заказал? Сто рублей пожалел? И бачок сливной починить следовало для маменьки родной, чтобы

ей годами с ведерком не хлестаться, и стекло треснутое оконное, фанеркой заставленное заменить. А главное мог бы калорифер магазинный приобрести, чтобы лежащая больная в последнюю свою зиму не замерзала. Давал тебе денег кулями – нос воротил, и – эх, сын называется.

– Ладно, перестань.

– Вот ложись и спи, покрывалом маменькиным накройся.

Но Семе ничего не приснилось.

Клементовский неотступно сидел рядом, наблюдая докторскими серьёзными глазами, с истинно дореволюционным терпением и врачебным человеколюбием народного служителя, тёр пенсне уголком скатерти, а к утру сам расхныкался: «Неужто успела таки прошмыгнуть, хитрющая девчонка, бросила клона беспомощного на произвол энтропии. Распадётся душа моя беспутная!».

И во вторую ночь ничего не приснилось. Сёма вспоминал, ворочался на диване, ходил, умывался и пил воду. Поэтому заспался в позднее утро: яркое, июльское и почти проснувшись, сквозь затрепетавшие веки увидел радостное событие: открывает дверь ключом, входит как обычно в квартиру, где солнца – полная комната и ярче всех полыхает в лучах разноцветный ковер над материнской кроватью.

Сёма загляделся на жизнерадостный узор, содержащий много красного и белого. Лежавшая на кровати мать увидела Сему, обрадовалась, подняла голову и с улыбкой спросила, совсем как раньше:

– Сёма, чай пить будешь?

И сразу гигантский груз, постоянно давящий сверху, под действием этих слов упал куда-то, аж земля загудела.

Он радостно вздохнул светящийся солнцем воздух полной грудью. Мир вернулся в нормальное состояние. Значит, смерть матери только приснилась, она жива, слава тебе, господи, и бескрайнее счастье наполнило его существо. Конечно, мама по-прежнему болеет, но это ничего, это исправимо, пройдет, и первое, что он сказал, было:

– Сейчас супчик сварим и покушаем!

Он стоял на пороге в комнату, не успев разуться, во все глаза разглядывая дорогое материнское лицо – теперь-то он сделает всё как полагается, и помидорку солёную притащит, и «Рушник» прямо сегодня закажет на радио. И она восторженно глядела на Сему, лицо излучало свет ярче солнечного дня. Оно было чистым, гладким, без единой морщинки, как до болезни наполненным жизнью и здоровьем. Только вот глаза широко и радостно распахнутые были непривычно голубого цвета, детские глаза, совсем девчоночьи. Может это от голубого шелкового платочка, что подвязал ей в последний путь?

Воспоминание кольнуло Сему прямо в сердце, ведь глаза сделались младенчески голубыми перед самой смертью, а прежде всегда были зелёными.

– Мама, ты же... умерла! – горько воскликнул Сёма, по-детски кривя губы и морща подбородок.

Мать растерянно оглянулась по сторонам, словно ища доводы в свое оправдание, но не нашла ни одного и оттого смущенно потупилась. Не успела она сказать и слова, как яркий день померк и тут же вновь заблистал, но уже без нее.

Сёма вскочил с дивана, сердце неукротимо колотилось в груди: в одну секунду жизнь перевернулась обратной, тяжелой стороной действительности.

Вот только что, мгновение назад, мать была жива, смотрела на Сему во все глаза радостно улыбаясь, как при встрече, и вновь умерла и похоронена, и нетронутая постель её застелена пушистым зеленым покрывалом. Какое несчастье, какое горе! Кажется вся тяжесть мира, какая только была, навалилась на плечи. Он опустился на диван.

Клементовский в почти неузнаваемом облики с жиденькой пегой бороденкой, маленький, скрючившись на сидении кресла, посапывал тихо, похожий на старенькую кудлатую собачонку, одетую в цветные трусы. Под замороженным взглядом Егорова заворочался, замычал, откашлялся, вскочил:

– Неужели проглядел? Ах, вот незадача! Обвела меня вокруг пальца, а всё же здесь она, не хочет уходить, значит не всё потеряно Сёма. Давай завтракать будем. Волосы причеши, дыбом стоят.

Клементовский клялся мессией, что уж больше он не уснет, да он вообще никогда не спит принципиально, и здесь, скорее всего, имеет место чуждое вредное влияние, а может что и похуже.

Егорова мучили собственные слова, произнесенные во сне, действительно, зачем сказал матери, что умерла, почему воскликнул с укором? Всё было так хорошо. Чего испугался? И что было бы, если не сказал этого?

Через несколько дней и ночей вновь почудилось.

Во сне он встал будто бы утром со своего дивана и стал открывать шторы, чтобы впустить в комнату солнечный свет. Мощными потоки его захлестнули, одеяло, лежащее на материной кровати пошевелилось, край резко откинулся и из-под него показалось веселое и светлое лицо матери:

– А вот и я!

Так в детстве маленький Сёма играл с матерью в прятки. Он укрывался одеялом на кровати и громко кричал, чтобы его было слышно на кухне: «Я спрятался, меня нет, иди искать!»

Но матери было некогда, только когда крикнет раза три – четыре, она оставив дела: варку или стирку, шла в комнату, громко оповещая: «Я иду искать, кто не спрятался – я не виноват». Входила в комнату вопрошая удивленно: «Где же наш Сёма?». Сёма не дыша наблюдал через дырочку из-под одеяла и видел, как заглянув под кровать она говорит: «Здесь, конечно же, нет никого». Потом открывала дверцы шифоньера: «И здесь тоже, куда мог спрятаться, а? Просто удивительно».

Сёма хихикал под одеялом.



«И под столом нет, – продолжала поиски мать, поднимая длинную кисею скатерти, – да я просто и не знаю даже, где ещё можно спрятаться, не в комод же залез, – на всякий случай выдвигала ящик, – нет, сюда невозможно влезть. Всё, я не знаю, сдаюсь!».

Семе только этого и надо. Сбрасывает с себя одеяло, радостно визжит: «А вот он, я! Не нашли! Не нашли!»

Голова матери по-прежнему повязана небесно-голубым шелковым смертным платочком, что при жизни она не разу не одевала, а радостное от игры лицо светилось необыкновенным светом. И как Сёма изо всех сил не противился внутреннему испугу, укоризненные слова вышли из него:

– Мама! Ты же умерла!

Улыбка исчезла с лица, сменившись растерянностью.

Сёма подскочил среди ночи, забегал по комнате, и до утра не смог больше заснуть – так бешено колотилось сердце.

Клементовский хныкал возлежа на кресле, что он не умеет уже перемещаться так быстро, как некоторые, а для игры в прятки у него слишком слабое зрение.

– Что, не нашел? – поинтересовался Егоров.

Пришелец лишь рассерженно махнул худой голой лапкой, мало похожей на человеческую руку. Сёма громко расхохотался, и, меряя шагами комнату, стал повторять одно и то же: «Не нашли, не нашли!»

Проливные ливни устраивали на могиле глубокие промоины в свежей глине. Сёма ездил на кладбище заделывал образовавшиеся ямы, а Клементовский его неотступно сопровождал, хотя передвижение давалось ему с трудом – при ходьбе поскрипывали ревматические колени.

– Успокойся ты, не засну я на кладбище, – отговаривался Сёма от почётного эскорта, – оставайся дома, отдохни, сам выпишься.

– Билет нам, пенсионерам, поди, не покупать, – мотал головой Клементовский, неотступно хрустя следом.

И правда, даже в частном маршрутном автобусе, едущем на кладбище с него не требовали оплату, – возможно не видели, а чаще принимали за заслуженного работника здравоохранения и депутата республики – гражданскую совесть региона, косящего «налево», то есть присматривающего себе место по левую руку от главной аллеи, среди роскошных мраморных палаццо, по соседству с прочими опочившими в бозе заслуженными деятелями, администраторами и самыми крутыми уголовными отморозками федерального значения.

Простонародные покойники были правы и после жизни, лежали густо, без размаха, «метр на два», практически без межей.

Сёме очень хотелось увидеть мать во сне. Однако она больше не являлась. Возможно, действительно перешла в другое пространство и упокоилась с миром. Когда Сёма так размышлял, Клементовский начинал с треском ломать хрупкие артритные пальцы, стеноя повешенной за помойкой кошкой, что, мол, ему, несчастному, никогда теперь уже отсюда не выбраться, и обречён на вечные мучения и непреходящие страдания.

Это действовало на нервы бывшего инвалида, который сделался необычайно жалостлив ко всем встречным старушкам, а особо имевшим хоть отдалённое сходство с матерью толи походкой толи фигурой, лицом или голосом, тотчас бросался им помогать на улице, когда требовалось и не требовалось.

Однажды шёл по базару и услышал голос матери из глубины толпы:

– Почём это у вас?

Мигом насторожился, загляделся по сторонам.

День выдался жаркий, без облаков, но асфальт в тени высоких тополей не успел просохнуть от вчерашнего ливня. В такую яркую полуденную пору народу кругом – яблоку некуда упасть. Люди перемещались плотными слоями в обе стороны меж двух бесконечных рядов палаток и ларьков.

Он жадно высматривал мать потерявшимся в толчее ребенком. И внезапно увидал сбоку у овощного прилавка на асфальте её стоптанные летние туфли сероватого цвета, усеянные многочисленными трещинками, как полотно старинной картины. Мелькнули за толпой простые нитяные чулки, которые уж давно никто не носит, край светло-коричневого летнего плаща, что надевался при дальних походах. Сёме хотелось увидеть лицо, однако народу было слишком много. Он замер на месте, пропуская толпу: наступило время обеденного перерыва, все кому не лень хлынули на базар из контор купить себе яблоко или банан вместо обеда для сохранения фигуры. То один заслонит от Сёмы мать, то другая втиснется. Так и не смог разглядеть лица, хотя всю фигуру со старой коричневой сумкой в руке разглядел и даже увидел, что ручка обмотана синей изоляционной лентой, и пуговицы на плаще знакомые, что совсем удивительно – узелок синего платочка на шее, а вот лица нет, не удалось высмотреть.

Проснулся под бессильное кваканье Клементовского, слабо улыбнулся сухопарому привидению, что бегало по комнате, хлеща себя с размаху по щекам, и подумалось, что специально мама не стала лица показывать, не захотела. Ведь стоит ему увидеть во сне слишком светлое родное лицо, как тотчас вспоминается, что она умерла, говорит ей зачем-то и просыпается с ужасным сердцебиением, а сейчас проснулся легко с быстропроходящей грустью: «А всё же встретились».

Однако Клементовский не был рад такому явлению:

– Это нечестно, нечестно, – выкрикивал он. – Я не успел! Я ничего не понял! – И подобострастно, суматошливо завертелся кругом. – Поспи, Сёмочка, ещё немножко. Поспи, ляг, родной. А я тебе песенку спою, как маменька, бывало, пела:

Будешь в золоте ходить,  
Нас обновами дарить,  
Кому клин, кому стан,  
Кому весь сарафан.

Э, чего плачешь? Ладно, другое тогда слушай:

Девять маленьких ребят,  
 Все по лавочкам сидят,  
 Кашу с маслицем едят.  
 Каша масляная,  
 Ложка крашенная.  
 Ложка гнется,  
 Рот смеется,  
 Сердце радуется!

На улице стемнялось.

Не зажигая света, Егоров сидел на диване, глядя на улицу через окно. За стеклом разговаривали прохожие, ясно долетали обрывки фраз, было прекрасно слышно, как в театре с хорошей акустикой. Сёма заснул сидя. С улицы в комнату сочился светло-розовый свет заката.

Ему приснился большой новый деревянный дом. Очень высокий, сложенный из длинных золотистых бревен.

В раннем сёминоме детстве они ездили к родственникам, где поздним вечером вся компания решила плыть на большой вёсельной лодке по ночной реке. Сему тоже посадили в лодку. Потом в неё начали прыгать с мостков взрослые.

Они были веселы и тяжелы. Сёма тихонько сидел на краю скамейки, осторожно держась пальчиками за борт. Кругом ничего не видно, черна ночь на реке. И вода и небо и лодка сливались в общий солидарный мрак. Только отблеск невидимого фонаря плавал и колыхался на волнах совсем рядом с Семой, по нему он догадывался, как глубоко погрузилась лодка в густую, чёрную, холодную воду, уже лизнувшую кромку борта и его пальцы. А невидимые люди прыгают и прыгают в лодку с мостков. Так им смешно и весело, что никто не замечает, как та всё глубже погружается в холодную черноту, вот ещё чуть-чуть и уйдут все разом под воду навсегда. «Вода близко, близко вода-то совсем», – бормочет Сёма себе под нос, вцепившись в борт, один из всех понимая, что скоро их не станет. Из дна лодки забили фонтанчики. Мать закричала, что лодка дырявая, в такой плавать нельзя, её родственники послушались, никуда не поплыли, перешли в подобный увиденному во сне высоченный дом без потолка, где высоко наверху проходили толстые балки, а крыша терялась в черноте.

Дом главного родственника – деда был старый, с закопчёнными серыми бревенчатыми стенами. Может быть, и не дом даже. В нём не было потолка, крыша где-то высоко – высоко, к тому же он слишком сильно пропах рекой, рыбой, сетями, людей вокруг собралось очень много, все крутили из газетной бумаги «козьи ножки», курили, и старый дед тоже курил ужасно крепкий самосад, от которого у Семы закружилась голова. Он сбежал тогда во двор под прохладное ночное небо.

Ещё приснившийся изнутри дом напоминал большую конюшню с сеновалом, но не сеном пахло в нем, а свежими смолевыми стружками.

Стены светились золотистыми боками ошкуренных бревен, пол тоже новый, из струганных некрашенных плах, как нынче модно делать на дачах. Замечательно пахло сосновой янтарной смолой.

Сёма оказался сразу внутри, не заходил через дверь и не знал, как выглядит дом снаружи. Он водил хоровод вроде как на чьём-то дне рождения, смысл происходящего доходил до него постепенно, сначала думалось, что попал на новоселье, потом склонился к мысли, что, скорее всего, это всё-таки детский день рождения, хотя никто ничего ему не объяснил, но так Егорову стало казаться, во всяком случае, он ощущал себя единственным взрослым среди множества маленьких детей.

На улице день, а в доме темновато и туманно. Сёма мог весьма приблизительно разглядеть детей – лишь контуры лиц, очень далеких, ибо хоровод кольцом двигался по очень большой зале. Да, он попал на день рождения, не на свой, конечно.

Дети страшно развеселились, орали пронзительными голосами, и он тоже старательно пел с ними про именины, как когда-то в детстве, но хоровод слишком уж длинный, а зала размером с ту, во Дворце пионеров, где проводились городские елки для всех школьников, только пол простой, деревянный, и пахнет хвоей, как на Новый Год, хотя никакой елки в центре залы нет. Значит, всё-таки день рождения. Вверху непроглядно темно, а внизу ужасно весело и шумно.

Сёма ходил кругами, как заведённый, водил за руки малышню словно пионервожатый, пел и радовался вместе со всеми. Особенно приятно ему сознавать, что левой рукой он держит крошечную тёплую ладошку мамы, которая стала маленьким ребёнком, даже не стала, а всегда была, а он уже был большим, ну, как-то вот так получилось, и всё тут.

Он не смотрел влево вниз, и без того зная, что там находится его мама, что именно она именинница сегодня, испытывая большой прилив сил и радость от того, что все так превосходно устроилось.

Столь же очевидным было то, что дети собрались здесь на её день рождения, ибо на день рождения матери всегда приходило много знакомых и соседей, конечно, до той поры, пока она не заболела. И кому же водить хоровод, как не ему, ближайшему родственнику и сыну! Как это делала она сама давным-давно на его детских именинах, когда еще была взрослой, а теперь они просто поменялись ролями и это тоже вполне естественно и объяснимо и очень хорошо, и снова все стало замечательно интересно, как в то давнее время, когда он только начинал узнавать жизнь.

Ему не следовало оглядываться, и он не оглядывался. Веселился от всей души, глядя прямо перед собой, и видел на другой стороне залы маленькие фигурки детей, казавшиеся одинаково зелёно – коричневого цвета, видел плохо, зато превосходно слышал радостные вопли и визги расшалившейся ребятни, водящей один с ними огромный хоровод. Ему казалось, что у них одинаково треугольные, будто смазанные лица цвета

сырой глины без глаз, носов и прочих портретных мелочей, но чего только не покажется иной раз в вечерней мглистой тьме сна, пусть лица примитивно слепленные, а всё же рты наличествовали на своих законных местах, были широко распахнуты и через них детвора громко распевала:

Как на наши именины  
Испекли мы каравай!  
Каравай, каравай,  
Кого хочешь, выбирай!

Сёма шагал боком вперёд, пел о всеми, благодарно ощущал тепло маленькой маминой ручки, и был всемерно счастлив, а до того, будто прочие дети выглядят не вполне нормальными, так что тут поделаешь?

Кстати, именно так чаще всего и кажется нам, родителям, что чужие, посторонние дети не вполне отвечают нужному уровню, однако терпишь их ради своего ребенка, с ними же ему бегать, играть и веселиться, раз других поблизости нет, пусть себе играют!

Особенно смешон был самый дальний человечек со смазанным на нет глиняным обезьяньим личиком, на которое нацепил позолоченное пенсне, точь в точь, как у бедняги Клементовского. Спёр, наверное, озорник у дедушки с комода, а тот ищет теперь вслепую, наощупь по всей комнате, под кроватью пыль шарит. Сёма вспомнил про доктора, и почувствовал вдруг гнетущую смертную тоску.

Он продолжал петь вместе со всеми, пытаясь улыбаться, шагал по кругу крупными шагами, а детки неслись вприпрыжку, сбивая хоровод в кучу – малу. Но глядел на окружающее уже совсем по-другому из-за воспоминаний о Клементовском.

Потом чужие глиняные ребятишки так разбаловались, что начали разламываться прямо на глазах на части, которые падали на сосновые доски пола, а головы продолжали петь широко раскрытыми ртами, и от такого поворота событий сделалось жутко до безумия, – хоть и глиняные, а вроде как живые были вот только что хоровод именинный водили.

Вдруг услышал он рядом голос матери: «Обманывает тебя Клементовский... Сёма спешно оглянулся влево, где тут же на его глазах у такой же маленькой и глиняной, живой и родной матери отвалилась по плечи безглазая головка, роняя комочки сырой глины, и вся она в два счёта легко рассыпалась и какое-то мгновение он держал только её ручонку, а кругом человечки громко орали песню и тот, в пенсне, тоже, а Сёма продолжая ощущать в сжатой горсти прощальную теплоту, вскочил с дивана: «Клементовский! Ах ты... вун!».

Клементовского не было. Не объявился он ни назавтра, ни через неделю, и никогда больше.

Сжигаемый неодолимым желанием снова ощутить в руке маленькую детскую ладошку, Семён кинулся в общежитие в гости к Ирме. Теперь для

него это стало главным: подержать ещё раз маленькие тёплые пальчики в руке.

Люльки в комнате пока не завелось и ребёнок жил на бывшей Сёминой кровати, лёжал поверх покрывала на пелёнках.

Егоров поздоровался с Ирмой, разулся, прошёл глянуть на ручки, некоторое время стоял рядом, смотрел, затем не выдержал, слишком велико было идущее изнутри желание – взял розовую ладошку с удивительно крохотными пальчиками, ощутил её, родную до последней капельки крови теплоту, аж слеза пробила, в ту же секунду поняв до конца смысл сказанного матерью во сне: Клементовский, чёртов шоумен, действительно наврал и Сёму обманул: никакого Макуши в природе не существовало, родная дочка к нему ручонки тянет. Теперь, когда исчез Клементовский и голова больше не болит, это сделалось очевиднейшим фактом.

Он робко глянул на Ирму, сурово и решительно кроившую на столе очередной ситцевый халат. Но не успел ничего сказать, начала говорить жена:

– Загипнотизировал ты меня, Егоров, вот что я тебе скажу. Сам выдумал какого-то Макушу, мне умудрился в голову втемяшить. К сестре я каждый раз ездила, в нашем городе она сто лет как живёт, учительницей физики в школе работает. Если хочешь, сходим к ним вечером, сам расспросишь как да что, удостоверись. Или специально голову морочил, чтобы развестись и алиментов не платить? Не было у меня никакого Макуши никогда в жизни. С чего взял?

– Прости, чёрт попутал, сам не знаю почему приревновал неведомо к кому. Сейчас окончательно туман рассеялся, понимаю – виноват перед тобой страшно. Прости, бога ради. Смотрю и дивлюсь, какие махонькие пальчики у дочки нашей, просто необыкновенные, такие родные – слов нет, ночью приснилось, будто бы хоровод водим на именинах. Давай, Ирма, переезжать в материну квартиру, чего здесь маяться? Собирай вещички, а?

Упаковав два чемодана пожиток, начали переезд, или точнее сказать, переход, в процессе которого Егоров нёс ребёнка, прижав к груди как величайшую ценность, благодаря которой появился смысл жизни у него, Ирмы и даже умершей матери. Семейное счастье зиждилось в настоящий момент целиком и полностью единственно на существовании свёртка, не ощущая веса которого он нёс. Крохотное тельце, находившееся внутри, являлось на удивление крепчайшим фундаментом семьи, той, которой прежде ровно вовсе не существовало, просто жили вместе, а сейчас уже есть, Сёма это чувствует и летит на всех парах срочно создавать полагающийся для его любимых людей уют, комфорт и благополучие.

Так быстро, что Ирма едва поспевала следом.

В последствии на каждом семейном празднике без исключения, она будет припоминать со смешными подробностями, как Сёма переселял семью из общежития в квартиру: при том сам нёс новорожденную дочку в одеялке: «прямо бегом бежал», а она тащила следом два тяжелых чемодана.

Надо сказать, Ирма со временем сделалась весьма разговорчивой, непонятным образом как, буквально за несколько дней после рождения дочери избавившись от обычной своей прибалтийской замкнутости. И рассказать может так, что окружающие, включая Сёму, слушая историю в её исполнении, обхохочутся.

Иногда берёт гитару и поёт дивные песни, которые, по её словам, сама вроде бы и сочиняет. Но честно говоря, Сёма ни разу не видел, что бы Ирма сидела и специально на гитаре тренькала или на бумагу записывала, как полагается сочинителям, а на вопросы о природе своего творчества отвечает всегда одинаково, что складывается песня у неё сама собой, сразу от начала и до конца под хорошее настроение. Остаётся лишь взять гитару в руки и спеть.